



Н. С. ЛЕСКОВ

ВОИТЕЛЬНИЦА

Николай Семёнович Лесков

Воительница

Содержание

1.....	0005
2.....	0012
3.....	0022
4.....	0099
5.....	0105
6.....	0147
7.....	0156

Николай Семёнович Лесков ВОИТЕЛЬНИЦА

*Вся жизнь моя была досель
Нравоучительною школой,
И смерть есть новый в ней урок.*

Ап.Майков[1]

— Э, ге-ге-ге! Нет, уж ты, батюшка мой, со мной, сделай милость, не спорь!

— Да отчего это, Домна Платоновна, не спорить-то? Что вы это, в самом деле, за привычку себе взяли, что никто против вас уж и слова не смей пикнуть?

— Нет, это не я, а вы-то все что себе за привычки позволяете, что обо всем сейчас готовы спорить! погоди еще, брат, поживи с мое, да тогда и спорь; а пока человек жил мало или всех петербургских обстоятельств как следует не понимает, так ему — мой совет — сидеть да слушать, что говорят другие, которые постарше и эти обстоятельства знают.

Этак каждый раз останавливала меня моя добрая приятельница, кружевница Домна Платоновна, когда я в чем-нибудь не соглашался с ее мнениями о свете и людях. Этак же она останавливала и всякого другого из своих знакомых, если кто из них как-нибудь дерзал выражать какие-нибудь свои замечания, несогласные с убеждениями Домны Платоновны. А знакомство у Домны Платоновны

было самое обширное, по собственному ее выражению даже «необъятное», и притом самое разнокалиберное. Приказчики, графы, князья, камер-лакеи, кухмистеры, актеры и купцы именитые – словом, всякого звания и всякой породы были у Домны Платоновны знакомые, а что про женский пол, так о нем и говорить нечего. Домна Платоновна женским полом даже никогда не хвалилась.

– Женский пол, – говорила она, когда так уже к слову выпадет, – мне вот как он мне весь известен!

При этом Домна Платоновна сожмет, бывало, горсть и показывает.

– Вот он, – говорит, – женский-то пол где у меня, весь в одном суставе сидит.

Столь обширное и разнообразное знакомство Домны Платоновны, составленное ею в таком городе, как Петербург, было для многих предметом крайнего удивления, и эти многие даже с некоторым благоговейным страхом спрашивали:

– Домна Платоновна! как это вы, матушка?..

– Что такое?

– Да что – вы со всеми знакомы?

– Да, мой друг, со всеми; почти решительно со всеми.

– Какими же это случаями и по какой причине...

– А все своей простотой, решительно одной простотой, – отвечает Домна Платоновна.

– Будто одной простотой!

– Да, друг мой, все меня любят, потому что я проста необыкновенно, и через эту свою простоту да через доброту много я на свете видела всякого горя; много я обид приняла; много клеветы всяческой оттерпела и не раз даже, сказать тебе, была бита, чтобы так не очень бита, но в конце всего люди любят.

– Ну, уж за то же и свет вы хорошо знаете.

– А уж что, мой друг, свет этот подлый я знаю, так точно знаю. На ладонке вот теперь, кажется, каждую шельму вижу. Только опять тебе скажу – нет... – добавит, смущаясь и задумываясь, Домна Платоновна.

– Что ж еще такое?

– А то, друг мой, – отвечает она, вздохнувши, – что нынче все новое выдумывают, и еще больше всякий человек ухитряется.

– Как же и чем он ухитряется, Домна Платоновна?

– А так и ухитряется, что ты его нынче, человека-то, с головы поймаешь, а он, гляди, к тебе с ног подходит. Удивительно это даже, ей-богу, как это сколько пошло обманов да выдумок: один так выдумывает, а другой еще лучше того превзойти хочет.

– Будто уж таки везде один обман на свете, Домна Платоновна?

– Да уж нечего тебе со мною спорить: на чем же, по-твоему, нынешний свет-то стоит? – на обмане да на лукавстве.

– Ну есть же все-таки и добрые люди на свете.

– На кладбищах, между родителей, может быть, есть и добрые; ну, только проку-то по них мало; а что уж из живой-то из всей нынешней сволочи – все одно качество: отврат да и только.

– Что ж это так, Домна Платоновна, по-вашему выходит, что все уж теперь плут на плуте и никому уж и верить нельзя?

– А ведь это, батюшка, никому не запрещено, верить-то; верь, сделай одолжение, если

тебя охота берет. Я вон генеральше Шемель-феник верила; двадцать семь аршин кружевов ей поверила, да пришла анамедни, говорю: «Старый должок, ваше превосходительство, позвольте получить», а она говорит: «Я тебе отдала». – «Никак нет, – говорю, – никогда я от вас этих денег не получала», а она еще как крикнет: «Как ты, – говорит, – смеешь, мерзавка, мне так отвечать? Вон ее!» – говорит. Лакей меня сейчас ту ж минуту под ручки, да и на солнышко, да еще штучку кружевцов там позабыла (спасибо, дешевенькие). Вот ты им и верь.

– Ну, что ж, – говорю, – ведь это одна ж такая!

– Одна! нет, батюшка, не одна, а легион им имя-то сказывается. Это ведь в первые времена-то, как крестьяне у дворян были, ну точно, что в тогдашнее время воровство будто до низкого сословия все больше принадлежало; а как нонче, когда крестьян не стало, господа и сами тоже этим ничуть не гнушаются. Всем ведь известно, какое лицо на бале бриллиантовое колью сфендрил... Да, милый, да, нынче никто не спускает. Вон тоже Караупова Авдо-

тъя Петровна, поглядеть на нее, чем не барышня? а воротничок на даче у меня в глазах украла.

– Как, – говорю, – украла? Что вы это! Ма-тушка Домна Платоновна, вспомните, что вы говорите-то? Как это даме красть?

– А так себе просто; как крадут, так и украла. Еще ты то скажи, что я это ту ж самую минуту заметила и вежливо, политично ей говорю: «Извините, – говорю, – сударыня, не обронила ли я здесь воротничка, потому что воротничка, – говорю, – одного нет». Так она сейчас на эти слова хватъ меня по наружности и отпечатала. «Вывесть ее!» – говорит лакею; очень просто – и вывели. Говорю лакею: «Милостивый государь! сам ты, – говорю, – служащий человек, сам, – сказываю, – посудди, голубчик, ведь свое, ведь жалко мне!» А он мне в ответ: «Что, – говорит, – жалко, когда у нее привычка такая!» Вот тебе только всего и сказу. Она теперь в своем звании всякие привычки себе позволяет, а ты, бедный человек, молчи.

– И что же вы изо всего этого, Домна Платоновна, выводите?

– А что, батюшка, мне выводить! Не мое дело никого выводить, когда меня самое выводят; а что народ плут и весь плутом взялся, против этого ты со мной, пожалуйста, лучше не спорь, потому я уж, слава тебе господи, я нонче только взгляну на человека, так вижу, что он в себе замыкает.

И попробовали бы вы после этого Домне Платоновне возражать! Нет, уж какой вы там ни будьте диалектик, а уж Домна Платоновна вас все-таки переспорит; ничем ее не убедите. Одно разве: приказали бы ее вывести, ну, тогда другое дело, а то непременно переспорит.

Я непременно должен отрекомендовать моим читателям Домну Платоновну как можно подробнее.

Домна Платоновна росту невысокого, и даже очень невысокого, а скорее совсем низенькая, но всем она показывается человеком крупным. Этот оптический обман происходит оттого, что Домна Платоновна, как говорят, впоперек себя шире, и чем вверх не доросла, тем вширь берет. Здоровьем она не хвалится, хотя никто ее больною не помнит и на вид она гора горою ходит; одна грудь так такое из себя представляет, что даже ужасно, а сама она, Домна Платоновна, все жалуется.

– Дама я, – говорит, – из себя хотя, точно, полная, но настоящей крепости во мне, как в других прочих, никакой нет, и сон у меня самый страшный сон – аридов[2]. Чуть я лягу, сейчас он меня оморит[3], и хоть ты после этого возьми меня да воробьям на путало выставь, пока вволю не выплюсь – ничего не почувствую.

Могучий сон свой Домна Платоновна

также считала одним из недугов своего полного тела и, как ниже увидим, немало от него перенесла горестей и несчастий.

Домна Платоновна очень любила прибегать к медицинским советам и в подробности описывать свои немощи, но лекарств не принимала и верила в одни только гарлемские капли, которые называла «гаремскими каплями» и пузыречек с которыми постоянно носила в правом кармане своего шелкового капота. Лет Домне Платоновне, по ее собственному показанию, все вертелось около сорока пяти, но по свежему ее и бодрому виду ей никак нельзя было дать более сорока. Волосы у Домны Платоновны в пору первого моего с нею знакомства были темно-коричневые – седого тогда еще ни одного не было заметно. Лицо у нее белое, щеки покрыты здоровым румянцем, которым, впрочем, Домна Платоновна не довольствуется и еще покупает в Пассаже, по верхней галерее, такие французские карточки, которыми усиливает свой природный румянец, не поддавшийся до сих пор никаким горестям, ни финским ветрам и туманам. Брови у Домны Платоновны словно как будто из

черного атласа наложены: черны несказанно и блестят ненатуральным блеском, потому что Домна Платоновна сильно наводит их черным фиксатуаром и вытягивает между пальчиками в шнурочек. Глаза у нее как есть две черные сливы, окрапленные возбуждительно утреннею росой. Один наш общий знакомый, пленный турок Испулат, привезенный сюда во время Крымской войны, никак не мог спокойно созерцать глаза Домны Платоновны. Так, бывало, и заколотится, как бесноватый, так и закричит:

– Ай грецкая глаза, совсем грецкая!

Другая на месте Домны Платоновны, разумеется, за честь бы себе такой отзыв поставила; но Домна Платоновна никогда на эту турецкую лесть не поддавалась и всегда горячо отстаивала свое непогрешимо русское происхождение.

– Врешь ты, рожа твоя некрещеная! врешь, лягушка ты пузастая! – отвечает она, бывало, весело турку. – Я своего собственного поколения известного; да и у нас в своем месте даже и греков-то этих в заводе совсем нет, и никогда их там не было.

Нос у Домны Платоновны был не нос, а носик, такой небольшой, стройненький и пряменький, какие только ошибкой иногда зарождаются на Оке и на Зуше. Рот у нее был-таки великонек: видно было, что круглою ложкою в детстве кушала; но рот был приятный, такой свеженький, очертание правильное, губки алые, зубы как из молодой редьки вырезаны – одним словом, даже и не на острове необитаемом, а еще даже и среди града многолюдного с Домной Платоновной поцеловаться охотнику до поцелуев было весьма незлоключительно. Но высшую прелесть лица Домны Платоновны, бесспорно, составляли ее персиковый подбородок и общее выражение, до того мягкое и детское, что если бы вас когда-нибудь взяла охота поразмыслить: как таки, при этой бездне простодушия, разлитой по всему лицу Домны Платоновны, с языка ее постоянно не сходит речь о людском ехидстве и злобе? – так вы бы непременно сказали себе: будь ты, однако. Домна Платоновна, совсем от меня проклята, потому что черт тебя знает, какие мне по твоей милости задачи приходят!

Нрава Домна Платоновна была самого общительного, веселого, доброго, необидчивого и простодушно-суеверного. Характер у нее был мягкий и сговорчивый; натура в основании своем честная и довольно прямая, хотя, разумеется, была у нее, как у русского человека, и маленькая лукавинка. Труд и хлопоты были сферою, в которой Домна Платоновна жила безвыходно. Она вечно суетилась, вечно куда-то бежала, о чем-то думала, что-то такое соображала или приводила в исполнение.

– На свете я живу одним-одна, одною своею душенькой, ну а все-таки жизнь, для своего пропитания, веду самую прекратительную, – говорила Домна Платоновна: – мычусь я, как угорелая кошка по базару; и если не один, то другой меня за хвост беспрестанно так и ловят.

– Всех дел ведь сразу не переделаете, – скажешь ей, бывало.

– Ну, всех, хоть не всех, – отвечает, – а все же ведь ужасно это как, я тебе скажу, отяготительно, а пока что прощай – до свиданья: люди ждут, в семи местах ждут, – и сама действительно так и побежит скороходью.

Домна Платоновна нередко и сама сознавала, что она не всегда трудится для своего единого пропитания и что отяготительные труды ее и ее прекратительная жизнь могли бы быть значительно облегчены без всякого ущерба ее прямым интересам; но никак она не могла воздержать свою хлопотливость.

– Завистна уж я очень на дело; сердце мое даже възиграет, как вижу дело какое есть.

Завистна Домна Платоновна именно была только на хлопоты, а не на плату. К заработку своему, напротив, она иногда относилась с каким-то удивительным равнодушием.

«Обманул, варвар!» или «обманула, варварка!», бывало, только от нее и слышишь, а глядишь, уж и опять она бегают и распинается для того же варвара и для той же варварки, вперед предсказывая самой себе, что они и опять непременно надуют.

Хлопоты у Домны Платоновны были самые разнообразные. Официально она точно была только кружевница, то есть мещанки, бедные купчихи и поповны насылали ей «из своего места» разные воротнички, кружева и манжеты: она продавала эти произведения

вразнос по Петербургу, а летом по дачам, и вырученные деньги, за удержанием своих процентов и лишков высылала «в свое место». Но, кроме кружевной торговли, у Домны Платоновны были еще другие private дела, при орудовании которых кружева и воротнички играли только роль пропускного вида.

Домна Платоновна сватала, приискивала женихов невестам, невест женихам; находила покупателей на мебель, на надеванные дамские платья; отыскивала деньги под заклады и без закладов; ставила людей на места вкупно от гувернерских до дворнических и лакейских; заносила записочки в самые известные салоны и будуары, куда городская почта и подумать не смеет проникнуть, и приносила ответы от таких дам, от которых несет только крещенским холодом и благочестием.

Но, несмотря на все свое досужество и связи. Домна Платоновна, однако, не озолотилась и не осеребрилась. Жила она в достатке, одевалась, по собственному ее выражению, «поважно» и в куске себе не отказывала, но денег все-таки не имела, потому что, во-пер-

вых, очень она зарывалась своей завистностью к хлопотам и часто ее добрые люди обманывали, а потом и с самыми деньгами у нее выходили какие-то мудреные оказии.

Главное дело, что Домна Платоновна была художница – увлекалась своими произведениями. Хотя она рассказывала, что все это она трудится из-за хлеба насущного, но все-таки это было несправедливо. Домна Платоновна любила свое дело как артистка: скомпоновать, собрать, состряпать и полюбоваться делами рук своих – вот что было главное, и за этим просматривались и деньги и всякие другие выгоды, которых особа более реалистическая ни за что бы не просмотрела.

Впала в свою колею Домна Платоновна ненароком. Сначала она смиренно таскала свои кружева и вовсе не помышляла о сопряжении с этим промыслом каких бы то ни было других занятий; но столица волшебная преобразила нелепую мценскую бабу в того тонкого фактотума[4], каким я знавал драгоценную Домну Платоновну.

Стала Домна Платоновна смекать на все стороны и проникать всюду. Пошло это у нее

так, что не проникнуть куда бы то ни было Домне Платоновне было даже невозможно: всегда у нее на рученьке вышитый саквояж с кружевами, сама она в новеньком шелковом капоте; на шее кружевной воротничок с большими городками, на плечах голубая французская шаль с белою каймою; в свободной руке белый, как кипень, голландский платочек, а на голове либо фиолетовая, либо серизовая гроденаплевая[5] повязочка, ну, одним словом, прелесть дама. А лицо! – само смиренность и благочестие. Лицом своим Домна Платоновна умела владеть, как ей угодно.

– Без этого, – говорила она, – никак в нашем деле и невозможно: надо виду не показывать, что ты Ананья или каналья.

К тому же и обращение у Домны Платоновны было тонкое. Ни за что, бывало, она в гостиной не скажет, как другие, что «была, дескать, я во всенародной бане», а выразится, что «имела я, сударь, счастье вчера быть в бестелесном маскараде»; о беременной женщине ни за что не брякнет, как другие, что она, дескать, беременна, а скажет: «она в своем марьяжном[6] интересе», и тому подобное.

Вообще была дама с обращением и, где следовало, умела задать тону своей образованностью. Но, при всем этом, надо правду сказать, Домна Платоновна никогда не заносилась и была, что называется, своему отечеству патриотка. По узости политического горизонта Домны Платоновны и самый патриотизм ее был самый узкий, то есть она считала себя обязанною хвалить всем Орловскую губернию и всячески привечать и обласкивать каждого человека «из своего места».

– Скажи ты мне, – говорила она, – что это такое значит: знаю ведь я, что наши орловцы первые на всем свете воры и мошенники; ну, а все какой ты ни будь шельма из своего места, будь ты хуже турки Испулатки лупоглазого, а я его не брошу и ни на какого самого честного из другой губернии променять не согласна?

Я ей на это отвечать не умел. Только, бывало, оба удивляемся:

– Отчего это в самом деле?

Мое знакомство с Домной Платоновной началось по пустому поводу. Жил я как-то на квартире у одной полковницы, которая говорила на шести европейских языках, не считая польского, на который она сбивалась со всякого. Домна Платоновна знала ужасно много таких полковниц в Петербурге и почти для всех их обдeldывала самые разнообразные делишки: сердечные, карманные и совокупно карманно-сердечные и сердечно-карманные. Моя полковница была, впрочем, действительно дама образованная, знала свет, держала себя как нельзя приличнее, умела представить, что уважает в людях их прямые человеческие достоинства, много читала, приходила в неподдельный восторг» от поэтов и любила декламировать из «Марии» Мальчевского:

*Bo na tym swiecie smierc wszystko
zmicie,
Robak sie legnie i w bujnym kwiecie
[7].*

Я видел Домну Платоновну первый раз у

своей полковницы. Дело было вечером; я сидел и пил чай, а полковница декламировала мне:

*Bo na tym swiecie smierc wszystko
zmiecie,
Robak sie legnie i w bujnym kwiecie.*

Домна Платоновна вошла, помолилась богу, у самых дверей поклонилась на все стороны (хотя, кроме нас двух, в комнате никого и не было), положила на стол свой саквояж и сказала:

– Ну вот, мир вам, и я к вам!

В этот раз на Домне Платоновне был шелковый коричневый капот, воротничок с язычками, голубая французская шаль и серизовая гроденаплевая повязочка, словом весь ее мундир, в котором читатели и имеют представлять ее теперь своему художественному воображению.

Полковница моя очень ей обрадовалась и в то же время при появлении ее будто немножко покраснела, но приветствовала Домну Платоновну дружески, хотя и с немалым тактом.

– Что это вас давно не видно было, Домна Платоновна? – спрашивала ее полковница.

– Все, матушка, дела, – отвечала, усаживаясь и осматривая меня, Домна Платоновна.

– Какие у вас дела!

– Да ведь вот тебе, да другой такой-то, да третьей, всем вам кортит[8], всем и угодить надо; вот тебе и дела.

– Ну, а то дело, о котором ты меня просила-то, помнишь... – начала Домна Платоновна, хлебнув чайку. – Была я намедни... и говорила...

Я встал проститься и ушел.

Только всего и встречи моей было с Домной Платоновной. Кажется, знакомству бы с этого завязаться весьма трудно, а оно, однако, завязалось.

Сижу я раз после этого случая дома, а кто-то стук-стук-стук в двери.

– Войдите, – отвечаю, не оборачиваясь.

Слышу, что-то широкое вползло и ворочается. Оглянулся – Домна Платоновна.

– Где ж, – говорит, – милостивый государь, у тебя здесь образ висит?

– Вон, – говорю, – в угле, над шторой.

– Польский образ или наш, христианский? – опять спрашивает, приподнимая потихоньку руку.

– Образ, – отвечаю, – кажется, русский.

Домна Платоновна закрыла глаза горсточкой, долго всматривалась в образ и наконец махнула рукою – дескать: «все равно!» – и помолилась.

– А узелочек мой, – говорит, – где можно положить? – и оглядывается.

– Положите, – говорю, – где вам понравится.

– Вот тут-то, – отвечает, – на диване его пока положу.

Положила саквояж на диван и сама села.

«Милый гость, – думаю себе, – бесцеремонливый».

– Этакие нынче образки маленькие, – начала Домна Платоновна, – в моду пошли, что ничего и не рассмотришь. Во всех это у аристократов все маленькие образки. Как это нехорошо.

– Чем же это вам так не нравится?

– Да как же: ведь это, значит, они бога прячут, чтоб совсем и не найти его.

Я промолчал.

– Да право, – продолжала Домна Платоновна, – образ должен быть в свою меру.

– Какая же, – говорю, – мера, Домна Платоновна, на образ установлена? – и сам, знаете, вдруг стал чувствовать себя с ней как со старой знакомой.

– А как же! – возговорила Домна Платоновна, – посмотри-ка ты, милый друг, у купцов: у них всегда образ в своем виде, ланпад и сияние... все это как должно. А это значит, господа сами от бога бежат, и бог от них далече. Вот нынче на святой была я у одной генеральши... и при мне камердинер ее входит и докладывает, что священники, говорит, пришли.

«Отказать», – говорит.

«Зачем, – говорю ей, – не отказывайте – грех».

«Не люблю, – говорит, – я попов».

Ну что ж, ее, разумеется, воля; пожалуй себе отказывай, только ведь ты не любить посланного; а тебя и посланный любить не будет.

– Вон, – говорю, – какая вы. Домна Плато-

новна, рассудительная!

– А нельзя, – отвечает, – мой друг, нынче без рассуждения. Что ты сколько за эту комнату платишь?

– Двадцать пять рублей.

– Дорого.

– Да и мне кажется дорого.

– Да что ж, – говорит, – не переедешь?

– Так, – говорю, – возиться не хочется.

– Хозяйка хороша.

– Нет, полноте, – говорю, – что вы там с хозяйкой.

– Ц-ты! Говори-ка, брат, кому-нибудь другому, да не мне; я знаю, какие все вы, шельмы.

«Ничего, – думаю, – отлично ты, гостья дорогая, выражаешься».

– Они, впрочем, полячки-то эти, ловкие тоже, – продолжала, зевнув и крестя рот, Домна Платоновна, – они это с рассуждением делают.

– Напрасно, – говорю, – вы Домна Платоновна, так о моей хозяйке думаете: она женщина честная.

– Да тут, друг милый, и бесчестия ей никакого нет; она человек молодой.

– Речи ваши, – говорю, – Домна Платоновна, умные и справедливые, но только я-то тут ни при чем.

– Ну, был ни при чем, стал городничОм; знаю уж я эти петербургские обстоятельства, и мне толковать про них нечего.

«И вправду, – думаю, – тебя, матушка, не разуверишь».

– А ты ей помогай – плати, мол, за квартиру-то, – говорила Домна Платоновна, пригигаясь ко мне и ударяя меня слегка по плечу.

– Да как же, – говорю – не платить?

– А так – знаешь, ваш брат, как осетит нашу сестру, так и норовит сейчас все на ее счет...

– Полноте, что это вы! – останавливаю Домну Платоновну.

– Да, дружок, наша-то сестра, особенно русская, в любви-то куда ведь она глупа; «на, мой сокол, тебе», готова и мясо с костей срезать да отдать; а ваш брат шаматон этим и пользуется.

– Да полноте вы, Домна Платоновна, какой я ей любовник.

– Нет, а ты ее жалеи. Ведь если так-то посу-

дить, ведь жалка, ей-богу же, друг мой, жалка наша сестра! Нашу сестру уж как бы надо было бить да драть, чтоб она от вас, поганцев, подальше береглась. И что это такое, скажи ты, за мудрено сотворено, что мир весь этими соглядатаями, мужчинами преисполнен!.. На что они? А опять посмотришь, и без них все будто как скучно; как будто под иную пору словно тебе и недостает чего. Черта в стуле, вот чего недостает! – рассердилась Домна Платоновна, плюнула и продолжала: – Я вон так-то раз прихожу к полковнице Домуховской... не знавал ты ее?

– Нет, – говорю, – не знавал.

– Красавица.

– Не знаю.

– Из полячек.

– Так что ж, – говорю, – разве я всех полячек по Петербургу знаю?

– Да она не из самых настоящих полячек, а крещеная – нашей веры!

– Ну, вот и знай ее, какая такая есть госпожа Домуховская не из самых полячек, а нашей веры. Не знаю, – говорю, – Домна Платоновна; решительно не знаю.

– Муж у нее доктор.

– А она полковница?

– А тебе это в диковину, что ль?

– Ну-с, ничего, – говорю, – что же дальше?

– Так она с мужем-то с своим, понимаешь,

попштыкалась.

– Как это попштыкалась?

– Ну, будто не знаешь, как, значит, в чем-нибудь не уговорились, да сейчас пшик-пшик, да и в разные стороны. Так и сделала эта Леканидка.

«Очень, – говорит, – Домна Платоновна, он у меня нравен».

Я слушаю да головой качаю.

«Капризов, – говорит, – я его сносить не могу; нервы мои, – говорит, – не выносят».

Я опять головой качаю. «Что это, – думаю, – у них нервы за стервы, и отчего у нас этих нервов нет?»

Прошло этак с месяц, смотрю, смотрю – моя барыня квартиру сняла: «Жильцов, – говорит, – буду пущать».

«Ну что ж, – думаю, – надоело играть косточкой, покатай желвачок; не умела жить за мужней головой, так поживи за своей: приго-

нит нужна и к поганой луже, да еще будешь пить да похваливать».

Прихожу к ней опять через месяц, гляжу – жилец у нее есть, такой из себя мужчина видный, ну только худой и этак немножко осповат.

«Ах, – говорит, – Домна Платоновна, какого мне бог жильца послал – деликатный, образованный и добрый такой, всеми моими делами занимается».

«Ну, деликатиться-то, мол, они нынче все уж, матушка, выучились, а когда во все твои дела уж он взошел, так и на что ж того и законней?»

Я это смеюсь, а она, смотрю, пых-пых, да и спламенела.

Ну, мой суд такой, что всяк себе как знает, а что если только добрый человек, так и умные люди не осудят и бог простит. Заходила я потом еще раза два, все застаю: сидит она у себя в каморке да плачет.

«Что так, – говорю, – мать, что рано соленой водой умываться стала?»

«Ах, – говорит, – Домна Платоновна, горе мое такое», – да и замолчала.

«Что, мол, – говорю, – такое за горе? Иль живую рыбку съела?»

«Нет, – говорит, – ничего такого, слава богу, нет».

«Ну, а нет, – говорю, – так все другое пустяки».

«Денег у меня ни грошика нет».

«Ну, это, – думаю, – уж действительно дрянь дело; но знаю я, что человека в такое время не надо печалить».

«Денег, – говорю, – нет – перед деньгами. А жильцы ж твои?» – спрашиваю.

«Один, – говорит, – заплатил, а то пустые две комнаты».

«Вот уж эта мерзость запустения, – говорю, – в вашем деле всего хуже. Ну, а дружок-то твой?» Так уж, знаешь, без церемонии это ее спрашиваю.

Молчит, плачет. Жаль мне ее стало: слабая, вижу, неразумная женщина.

«Что ж, – говорю, – если он наглец какой, так и вон его».

Плачет на эти слова, ажно платок мокрый за кончики зубами щипет.

«Плакать, – говорю, – тебе нечего и уби-

ваться из-за них, из-за поганцев, тоже не стоит, а что отказала ему, да только всего и разговора, и найдем себе такого, что и любовь будет и помощь; не будешь так-то зубами щелкать да убиваться». А она руками замахала. «Не надо! не надо! не надо!» – да сама кинулась в постель головой, в подушки, и надрывается, ажно как спинка в платье не лопнет. У меня на то время был один тоже знакомый купец (отец у него по Суровской линии свой магазин имеет), и просил он меня очень: «Познакомь, – говорит, – ты меня, Домна Платоновна, с какой-нибудь барышней, или хоть и с дамой, но только чтоб очень образованная была. Терпеть, – говорит, – не могу необразованных». И поверить можно, потому и отец у них, и все мужчины в семье все как есть на дурах женаты, и у этого-то тоже жена дурица – все, когда ни приди, сидит да печатаные пряники ест.

«На что, – думаю, – было бы лучше желать и требовать, как эту Леканиду суютить с ним». Но, вижу, еще глупа – я и оставила ее: пусть дойдет на солнце!

Месяца два я у нее не была. Хоть и жаль

было мне ее, но что, думала себе, когда своего разума нет и сам человек ничем кругом себя ограничить не понимает, так уж ему не поможешь.

Но о спажинках[9] была я в их доме; кружевцов немного продала, и вдруг мне что-то кофию захотелось, и страсть как захотелось. Дай, думаю, зайду к Домуховской, к Леканиде Петровне, напьюсь у нее кофию. Иду это по черной лестнице, отворяю дверь на кухню – никого нет. Ишь, говорю, как живут откровенно – бери что хочешь, потому и самовар и кастрюли, все, вижу, на полках стоит.

Да только что этак-то подумала, иду по коридору и слышу, что-то хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. Ах ты боже мой! что это? – думаю. Скажите пожалуйста, что это такое? Отворяю дверь в ее комнату, а он, этот приятель-то ее добрый – из актеров он был, и даже немаловажный актер – артист назывался; ну-с, держит он, сударь, ее одною рукою за руку, а в другой нагайка.

«Варвар! варвар! – закричала я на него, – что ты это, варвар, над женщиной делаешь!» – да сама-то, знаешь, промеж них, сак-

вояжем-то своим накрываюсь, да промеж них-то. Вот ведь что вы, злодеи, над нашей сестрой делаете!

Я молчал.

– Ну, тут-то я их разняла, не стал он ее при мне больше наказывать, а она еще было и отговаривается.

«Это, – говорит, – вы не думайте, Домна Платоновна; это он шутил».

«Ладно, – говорю, – матушка; бочка-то, гляди, в платье от его шутилки не потрескались ли». Однако жили опять; все он у нее стоял на квартире, только ничего ей, мошенник, ни грошика не платил.

– Тем и кончилось?

– Ну, нет; через несколько времени пошел у них опять карамболь [10], пошел он ее опять что день трепать, а тут она какую-то жиличку еще к себе, приезжую барыньку из купчих, приняла. Чай, ведь сам знаешь, наши купчихи, как из дому вырвутся, на это дело препростые... Ну он ко всему же к прежнему да еще почал с этой жиличкой амуриться – пошло у них теперь такое, что я даже и ходить перестала.

«Бог с вами совсем! живите, – думаю, – как хотите».

Только тринадцатого сентября, под самое воздвиженье честнаго и животворящего креста, пошла я к Знаменью, ко всенощной. Отстояла всенощную, выхожу и в самом притворе на паперти, гляжу – эта самая Леканида Петровна. Жалкая такая, бурнусишко[11] старенький, стоит на коленочках в уголочке и плачет. Опять меня взяла на нее жалость.

«Здравствуй, – говорю, – Леканида Петровна!»

«Ах, душечка, – говорит, – моя, Домна Платоновна, такая-сякая немазаная! Сам бог, – говорит, – мне вас послал», – а сама так вот ручьями слез горьких и заливается.

«Ну, – я говорю, – бог, матушка, меня не посылал, потому что бог ангелов бесплотных посылает, а я человек в свою меру грешный; но ты все-таки не плачь, а пойдем куда-нибудь под **на**сесть сядем, расскажи мне свое горе; может, чем-нибудь надумаемся и поможем».

Пошли.

«Что варвар твой, что ли, опять над тобой

что сделал?» – спрашиваю ее.

«Никого, – говорит, – никакого варвара у меня нет».

«Да куда же это ты идешь?» – говорю, потому квартира ее была в Шестилавочной, а она, смотрю, на Грязную заворачивает.

Слово по слову, и раскрылось тут все дело, что квартиры уж у нее нет: мебелишку, какая была у нее, хозяин за долг забрал; дружок ее пропал – да и хорошо сделал, – а живет она в каморочке, у Авдотьи Ивановны Дислен. Такая эта подлая Авдотья Ивановна, даром что майорская она дочь и дворянством своим величается, ну, а преподлая-подлая. Чуть я за нее, за негодяйку, один раз в квартал не попала по своей простоте по дурацкой. «Ну, только, – говорю я Леканиде Петровне, – я эту Дисленьшу, мой друг, очень знаю – это первая мошенница».

«Что ж, – говорит, – делать! Голубочка Домна Платоновна, что же делать?»

Ручонки-то, гляжу, свои ломит, ломит, инда даже смотреть жалко, как она их коверкает.

«Зайдите, – говорит, – ко мне».

«Нет, – говорю, – душечка, мне тебя хоша и очень жаль, но я к тебе в Дисленьшину квартиру не пойду – я за нее, за бездельницу, и так один раз чуть в квартал не попала, а лучше, если есть твое желание со мной поговорить, ты сама ко мне зайди».

Пришла она ко мне: я ее напоила чайком, обогрела, почавкали с нею, что бог послал на ужин, и спать ее с собой уложила. Довольно с тебя этого?

Я кивнул утвердительно головою.

– Ночью-то что я еще через нее страху имела! Лежит-лежит она, да вдруг вскочит, сядет на постели, бьет себя в грудь. «Голубочка, – говорит, – моя, Домна Платоновна! Что мне с собой делать?»

Какой час, уж вижу, поздний. «Полно, – говорю, – себе убиваться, – спи. Завтра подумаем».

«Ах, – говорит, – не спится мне, не спится мне. Домна Платоновна».

Ну, а мне спать смерть как хочется, потому у меня сон необыкновенно какой крепкий.

Проспала я этак до своего часу и прокинулась. Я прокинулась, а она, гляжу, в одной ру-

башоночке сидит на стуле, ножонки под себя подобрала и папироску курит. Такая беленькая, хорошенькая да нежненькая – точно вот пух в атласе.



«Умеешь, – спрашиваю, – самоварчик поставить?»

«Пойду, – говорит, – попробую».

Надела на себя юбчонку бумазейную и пошла в кухоньку. А мне таки тут что-то смерть не хотелось вставать. Приносит она самоваришко, сели мы чай пить, она и говорит: «Что, – говорит, – я, Домна Платоновна, надумалась?»

«Не знаю, – говорю, – душечка, чужую думку своей не раздумаешь».

«Поеду я, – говорит, – к мужу».

«На что, мол, лучше этого, как честной женой быть, когда б, – спрашиваю, – только он тебя принял?»

«Он, – говорит, – у меня добрый; я теперь вижу, что он всех добрей».

«Добрый-то, – отвечаю ей, – это хорошо, что он добрый; а скажи-ка ты мне, давно ты его покинула-то?»

«А уж скоро, – говорит, – Домна Платоновна, как с год будет».

«Да вот, мол, видишь ты, с год уж тому прошло. Это тоже, – говорю, – дамочка, время не малое».

«А что же, – спрашивает, – такое, Домна Платоновна, вы в этом полагаете?»

«Да то, – говорю, – полагаю, что не завелась ли там на твое место тоже какая-нибудь пирожная мастерица, горшечная пагубница».

«Я, – отвечает, – об этом, Домна Платоновна, и не подумала».

«То-то, мол, мать моя, и есть, что *«не подумала»*. И все-то вот вы так-то об этом не думаете!.. А надо думать. Когда б ты подумала-то да рассудила, так, может быть, и много б чего с тобой не было».

Она таки тут ух как засмутилась! Заскребло, вижу, ее за сердчишко-то; губенки свои этак кусает, да и произносит таково тихонечко: «Он, – говорит, – мне кажется, совсем не такой был».

«Ах вы, – подумала я себе, – звери вы этикие капустные! Сами козами в горах так и прыгают, а муж хоть и им негож, так и другой не трожь». Не поверишь ты, как мне это всякий раз на них досадно бывает. «Прости-ка ты меня, матушка, – сказала я ей тут-то, – а только речь твоя эта, на мой згад, ни к чему даже не пристала. Что же, – говорю, – он, твой муж,

за такой за особенный, что ты говоришь: *не такой он?* Ни в жизнь мою никогда я этому не поверю. Все, я думаю, и он такой же самый, как и все: костяной да жильный. А ты бы, – говорю, – лучше бы вот так об этом сообразила, что ты, женщиной бымши, себя не очень-то строго соблюла, а ему, – говорю, – ничего это и в суд не поставится», – потому что ведь и в самом-то деле, хоть и ты сам, ангел мой, сообрази: мужчина что сокол: он схватил, встрепенулся, отряхнулся, да и опять лети, куда око глянет; а нашей сестре вся и дорога, что от печи до порога. Наша сестра вашему брату все равно что дураку волынка: поиграл да и кинул. Согласен ли ты с этой справедливостью?

Ничего не возражаю.

А Домна Платоновна, спасибо ей, не дождавшись, моего ответа, продолжает:

– Ну-с, вот и эта, милостивая моя государыня, наша Леканида Петровна, после таких моих слов и говорит: «Я, – говорит, – Домна Платоновна, ничего от мужа не скрою, во всем сама повинюсь и признаюсь: пусть он хоть голову мою снимет».

«Ну, это, – отвечаю, – опять тоже, по-моему,

не дело, потому что мало ли какой грех был, но на что про то мужу сказывать. Что было, то прошло, а слушать ему про это за большое удовольствие не будет. А ты скрепись и виду не покажи».

«Ах, нет! – говорит, – ах, нет, я лгать не хочу».

«Мало, – говорю, – чего не хочешь! Сказывается: грех воровать, да нельзя миновать».

«Нет, нет, нет, я не хочу, не хочу! Это грех обманывать».

Зарядила свое, да и баста.

«Я, – говорит, – прежде все опишу, и если он простит – получу ответ, тогда и поеду».

«Ну, делай, мол, как знаешь; тебя, видно, милая, не научишь. Дивлюсь только, – говорю, – одному, что какой это из вас такой новый завод пошел, что на грех идете, вы тогда с мужьями не спрашиваетесь, а промолчать, прости господи, о пакостях о своих – греха побитесь. Гляди, – говорю, – бабочка, не кусать бы тебе локтя!»

Так-таки оно все на мое вышло. Написала она письмо, в котором, уж бог ее знает, все объяснила, должно быть, – ответа нет. При-

дет, плачет-плачет – ответа нет.

«Поеду, – говорит, – сама; слугою у него буду».

Опять я подумала – и это одобряю. Она, думаю, хорошенькая, пусть хоть попервоначально какое время и погневаается, а как она на глазах будет, авось опять дух, во тьме приходящий, спутает; может, и забудется. Ночная кукушка, знаешь, дневную всегда перекукует.

«Ступай, – говорю, – все ж муж, не любовник, все скорей смилуется».

«А где б, – говорит, – мне, Домна Платоновна, денег на дорогу достать?»

«А своих-то, – спрашиваю, – аль уж ничего нет?»

«Ни грошика, – говорит, – нет; я уж и Дисленьше должна».

«Ну, матушка, денег доставать здесь остро».

«Взгляните, – говорит, – на мои слезы».

«Что ж, – говорю, – дружок, слезы? – слезы слезами, и мне даже самой очень тебя жаль, да только Москва слезам не верит, говорит пословица. Под них денег не дадут».

Она плачет, я это тоже с нею сижу, да так

промеж себя и разговариваем, а в комнату ко мне шась вдруг этот полковник... как его зовут-то?

– Да ну, бог там с ним, как его зовут!

– Уланский, или как их это называются-то они? – инженер?

– Да бог с ним, Домна Платоновна.

– Ласточкин он, кажется, будет по фамилии, или как не Ласточкин? Так как-то птичья фамилия и не то с «люди», не то с «како» начинается...

– Ах, да оставьте вы его фамилию в покое.

– Я этак-то вот много кого: по местам сейчас тебе найду, а уж фамилию не припомню. Ну, только входит этот полковник; начинает это со мною шутить, да на ушко и спрашивает:

«Что, – говорит, – это за барышня такая?»

Она совсем барыня, ну, а он ее барышней назвал: очень она еще моложава была на вид.

Я ему отвечаю, кто она такая.

«Из провинции?» – спрашивает.

«Это, – говорю, – вы угадали – из провинции».

А он это – не то как какой ветреник или

повеса – известно, человек уж в таком чине – любил, чтоб женщина была хоть и на краткое время, но не забывши свой стыд, и с правилами; ну, а наши питерские, знаешь, чай, сам, сколько у них стыда-то, а правил и еще того больше: у стриженной девки на голове волос больше, чем у них правил.

– Ну-с, Домна Платоновна?

«Ну, сделай, – говорит, – милость, Домна Панталоновна», – у них это, у полковых, у всех все такая привычка: не скажет: Платоновна, а *Панталоновна*. – «Ну-с, – говорит, – Домна Панталоновна, ничего, – говорит, – для тебя не пожалею, только ограничь ты мне это дело в порядке».

Я, знаешь, ничего ему решительного не отвечаю, а только бровями этак, понимаешь, на нее повела и даю ему мину, что, дескать, «трудно».

«Невозможно?» – говорит.

«Этого, – говорю, – я тебе, генерал мой хороший, не объясняю, потому это ее душа, ее и воля, а что хотя и не надеюсь, но попробовать я для тебя попробую».

А он сейчас мне: «Нечего, – говорит, – тут,

Панталониха, словами разговаривать; вот, – говорит, – тебе пятьдесят рублей, и все их сейчас ей передай».

– И вы их, – спрашиваю, – передали?

– А ты вот лучше не забегай, а если хочешь слушать, так слушай. Рассуждаю я, взявши у него эти деньги, что хотя, точно, у нас с нею никогда разговора такого, на это похожего, не было, чтоб претекст мне ей такой сделать, ну только, зная эти петербургские обстоятельства, думаю: «Ох, как раз она еще, гляди, и сама рада, бедная, будет!» Выхожу я к ней в свою маленькую комнатку, где мы сидели-то, и, говорю: «Ты, – говорю, – Леканида Петровна, в рубашечке, зная, родилась. Только о деньгах поговорили, а оне, – говорю, – и вот оне», да бумажку-то перед ней кладу. Она: «Кто это? как это? откуда?» – «Бог, – я говорю, – тебе послал», – говорю ей громко, а на ушко-то шепчу: «Вот этот барин, – сказываю, – за одно твое внимание тебе посылает... Прибирай, – говорю, – скорей эти деньги!»

А она, смотрю, слезы у нее по глазам и на стол кап-кап, как гороховины. С радости или с горя – никак не разберу, с чего эти слезы.

«Прибери, – говорю, – деньги-то да выдь на минутку в ту комнату, а я тут покопаюсь...» Довольно тебе кажется, как я все это для нее вдруг прекрасно устроила?

Смотрю я на Домну Платоновну: ни бровка у нее не моргнет, ни уста у нее не лукавят; вся речь ее проста, сердечна; все лицо ее выражает одно доброе желание пособить бедной женщине и страх, чтоб это внезапно подвернувшееся благодетельное событие как-нибудь не расстроилось, – страх не за себя, а за эту же несчастную Леканиду.

– Довольно тебе этого? Кажется, все, что могла, все я для нее сделала, – говорит, при-вскакивая и ударяя рукою по столу, Домна Платоновна, причем лицо ее вспыхивает и принимает выражение гневное. – А она, мерзавка этакая! – восклицает Домна Платоновна, – она с этим самым словом – мах, безо всего, как сидела, прямо на лестницу и гу-гу-гу: во всю мочь ревет, значит. Осрамила! Я это в свой уголок скорей; он тоже за шапку да дра-ла. Гляжу вокруг себя – вижу, и платок она свой шейный, так, мериносовый, старенький платчишко, – забыла. «Ну, постой же, – ду-

маю, – ты, дряннь этакая! Придешь ты, гадкая, я тебе этого так не подарю». Через день, не то через два, вернулась это я к себе домой, смотрю – и она жалуется. Я, хоть сердце у меня на ее невелико, потому что я вспыльчива только, а сердца долго никогда не держу, но вид такой ей даю, что сердита ужасно.

«Здравствуйте, – говорит, – Домна Платоновна».

«Здравствуй, – говорю, – матушка! За платочком, что ля, пришла? – вон твой платок».

«Я, – говорит, – Домна Платоновна, извините меня, так тогда испугалась».

«Да, – говорю ей, – покорно вас, матушка, благодарю. За мое же к вам за расположение вы такое мне наделали, что на что лучше желать-требовать».

«В перепуге, – говорит, – я была, Домна Платоновна, простите, пожалуйста».

«Мне, – отвечаю, – тебя прощать нечего, а что мой дом не такой, чтоб у меня шкандальничать, бегать от меня по лестницам да визги эти свои всякие здесь поднимать. Тут, – говорю, – и жильцы благородные живут, да и хозяин, – говорю, – процентщик – к нему что ми-

нута народ идет, так он тоже этих визгов-то не захочет у себя слышать».

«Виновата я, Домна Платоновна. Сами вы посудите, такое предложение».

«Что ж ты, – говорю, – такая за особенная, что этак очень тебя предложение это оскорбило? Предложить, – говорю, – всякому это вольно, так как ты женщина нуждающаяся; а ведь тебя насильно никто не брал, и зевать-то, стало быть, тебе во все горло нечего было».

Простить просит.

Я ей и простила, и говорить с ней стала, и чаю чашку налила.

«Я к вам, – говорит, – Домна Платоновна, с просьбой: как бы мне денег заработать, чтоб к мужу ехать».

«Как же, мол, ты их, сударыня, заработаешь? Вот был случай, упустила, теперь сама думай; я уж ничего не придумаю. Что ж ты такое можешь работать».

«Шить, – говорит, – могу; шляпы могу делать».

«Ну, душечка, – отвечаю ей, – ты лучше об этом меня спроси; я эти петербургские обсто-

ательства-то лучше тебя знаю; с этой работой-то, окромя уж того, что ее, этой работы, достать негде, да и те, которые ею и давно-то занимаются и настоящие-то шитвицы, так и те, – говорю, – давно голые бы ходили, если б на одежонку себе грехом не доставали».

«Так как же, – говорит, – мне быть?» – и опять руки ломает.

«А так, – говорю, – и быть, что было бы не коробатиться; давно бы, – говорю, – уж другой бы день к супругу выехала».

И-и-их, как она опять на эти мои слова вся как вспыхнет!

«Что это, – говорит, – вы, Домна Платоновна, говорите? Разве, – говорит, – это можно, чтоб я на такие скверные дела пустилась?»

«Пускалась же, – говорю, – меня про то не спрашивалась».

Она еще больше запламенела.

«То, – говорит, – грех мой такой был, *увлечение*, а чтобы я, – говорит, – раскаявшись да собираясь к мужу, еще на такие подлые средства поехала – ни за что на свете!»

«Ну, ничего, – говорю, – я, матушка, твоих слов не понимаю. Никаких я тут подлостей не

вижу. Мое, – говорю, – рассуждение такое, что когда если хочет себя женщина на настоящий путь поворотить, так должна она всем этим пренебрегать».

«Я, – говорит, – этим предложением пренебрегаю».

Очень, слышь, большая барыня! Так там с своим с конопастым безо всякого без путя сколько время валандалась, а тут для дела, для собственного покоя, чтоб на честную жизнь себя повернуть – шагу одного не может, видишь, ступить, минутая уж ей одна и та тяжела очень стала.

Смотрю опять на Домну Платоновну – ничего в ней нет такого, что лежит печатью на специалистках по части образования жертв «общественного недуга», а сидит передо мною баба самая простодушная и говорит свои мерзости с невозмутимую уверенностью в своей доброте и непроходимой глупости госпожи Леканидки.

– «Здесь, – говорю, – продолжает Домна Платоновна, – столица; здесь даром, матушка, никто ничего не даст и шагу-то для тебя не ступит, а не то что деньги».

Этак поговорили – она и пошла. Пошла она, и недели с две, я думаю, ее не было видно. На конец того дела является голубка вся опять в слезах и опять с своими охами да вздохами.

«Вздыхай, – говорю, – ангел мой, не вздыхай, хоть грудь надсади, но как я хорошо петербургские обстоятельства знаю, ничего тебе от твоих слез не поможется».

«Боже мой! – сказывает, – у меня уж, кажется, как глаза от слез не вылезут, голова как не треснет, грудь болит. Я уж, – говорит, – и в общества сердобольные обращалась: пороги все обила – ничего не выходила».

«Что ж, сама ж, – говорю, – виновата. Ты бы меня расспросила, что эти все общества значат. Туда, – говорю, – для того именно и ходят, чтоб только последние башмаки дотапывать».

«Взгляните, – говорит, – сами, какая я? На что я стала похожа».

«Вижу, – отвечаю ей, – вижу, мой друг, и нимало не удивляюсь, потому горе только одного рака красит, но помочь тебе, – говорю, – ничем не могу».

С час тут-то она у меня сидела и все плакала, и даже, правду сказать, уж и надоела.

«Нечего, – говорю ей на конец того, – плакать-то: ничего от этого не поможется; а умнее сказать, надо покориться».

Смотрю, слушает с плачем и – уж не сердится.

«Ничего, – говорю, – друг любезный, не поделаешь: не ты первая, не ты будешь и последняя».

«Занять бы, – говорит, – Домна Платоновна, хоть рублей пятьдесят».

«Пятидесяти копеек, – говорю, – не займешь, а не то что пятидесяти рублей – здесь не таковский город, а столица. Были у тебя пятьдесят рублей в руках – точно, да не умела ты их брать, так что ж с тобой делать?»

Поплакала она и ушла. Было это как раз, помню, на Иоанна Рыльского, а тут как раз через два дня живет[12] праздник: иконы Казанский божьей матери. Так что-то мне в этот день ужасно как нездоровилось – с вечера я это к одной купчихе на Охту ездила да, должно быть, простудилась на этом каторжном перевозе, – ну, чувствую я себя, что нездорова;

никуда я не пошла: даже и у обедни не была; намазала себе нос салом и сажу на постели. Гляжу, а Леканида Петровна моя ко мне жалует, без бурнусика, одним платочком покрывшись.

«Здравствуйте, – говорит, – Домна Платоновна».

«Здравствуй, – говорю, – душечка. Что ты, – спрашиваю, – такая неубранная?»

«Так, – говорит, – на минуту, – говорит, – выскочила», – а сама, вижу, вся в лице меняется. Не плачет, знаешь, а то всполыхнет, то сбледнеет. Так меня тут же как молонья мысль и прожгла: верно, говорю себе, чуть ли ее Дисленьша не выгнала.

«Или, – спрашиваю, – что у вас с Дисленьшей вышло?» – а она это дерг-дерг себя за губенку-то, и хочет, вижу, что-то сказать, и заминается.

«Говори, говори, матушка, что такое?»

«Я, – говорит, – Домна Платоновна, к вам».

А я молчу.

«Как, – говорит, – вы, Домна Платоновна, поживаете?»

«Ничего, – говорю, – мой друг. Моя жизнь

все одинаковая».

«А я... – говорит, – ах, я просто совсем с ног сбилася».

«Тоже, – говорю, – видно, и твое все еще одинаково?»

«Все то же самое, – говорит. – Я уж, – говорит, – всюду кидалася. Я уж, кажется, всякий свой стыд позабыла; все ходила к богатым людям просить. В Кузнечном переулке тут, говорили, один богач помогает бедным – у него была; на Знаменской тоже была».

«Ну, и много же, – говорю, – от них вынесли?»

«По три целковых».

«Да и то, – говорю, – еще много. У меня, – говорю, – купец знакомый у Пяти углов живет, так тот разменяет рубль на копейки и по копеечке в воскресенье и раздает. „Все равно, – говорит, – сто добрых дел выходит перед богом“. Но чтоб пятьдесят рублей, как тебе нужно, – этого, – говорю, – я думаю, во всем Петербурге и человека такого нет из богачей, чтобы даром дал».

«Нет, – говорит, – говорят, есть».

«Кто ж это, мол, тебе говорил? Кто такого

здесь видел?»

«Да одна дама мне говорила... Там у этого богача мы с нею в Кузнечном вместе дожидались. Грек, говорит, один есть на Невском: тот много помогает».

«Как же это, – спрашиваю, – он за здорово живешь, что ли, помогает?»

«Так, – говорит, – так, просто так помогает, Домна Платоновна».

«Ну, уж это, – говорю, – ты мне, пожалуйста, этого лучше и не ври. Это, – говорю, – сущий вздор».

«Да что же вы, – говорит, – спорите, когда эта дама сама про себя даже рассказывала? Она шесть лет уж не живет с мужем, и всякий раз как пойду, говорит, так пятьдесят рублей».

«Врет, – говорю, – тебе твоя знакомая дама».

«Нет, – говорит, – не врет».

«Врет, врет, – говорю, – и врет. Ни в жизнь этому не поверю, чтобы мужчина женщине пятьдесят рублей даром дал».

«А я, – говорит, – утверждаю вас, что это правда».

«Да ты что ж, сама, что ли, – говорю, – ходила?»

А она краснеет, краснеет, глаз куда деть не знает.

«Да вы, – говорит, – что. Домна Платоновна, думаете? Вы, пожалуйста, ничего такого не думайте! Ему восемьдесят лет. К нему много дам ходят, и он ничего от них не требует».

«Что ж, – говорю, – он красотой, что ли, только вашу освещает?»

«Вашую? Почему же это, – говорит, – вы опять так утверждаете, что как будто и я там была?» А сама так, как розан, и покраснелась.

«Чего ж, – говорю, – не утверждать? разве не видно, что была?»

«Ну так что ж такое, что была? Да, была».

«Что ж, очень, – говорю, – твоему счастью рада, что побывала в хорошем доме».

«Ничего, – говорит, – там нехорошего нет. Я очень просто зашла, – говорит, – к этой даме, что с ним знакома, и рассказала ей свои обстоятельства... Она, разумеется, мне сначала сейчас те же предложения, что и все делают... Я не захотела; ну, она и говорит: „Ну так вот, не хотите ли к одному греку богатому схо-

дить? Он ничего не требует и очень много хорошеньким женщинам помогает. Я вам, – говорит, – адрес дам. У него дочь на фортепиано учится, так вы будто как учительница придете, но к нему самому ступайте, и ничего, – говорит, – вас стеснять не будет, а деньги получите“. Он, понимаете, Домна Платоновна, он уже очень старый-престарый».

«Ничего, – говорю, – не понимаю».

Она, вижу, на мою недогадливость сердится. Ну, а я уж где там не догадываюсь: я все отлично это понимаю, к чему оно клонит, а только хочу ее стыдом-то этим помучить, чтоб совесть-то ее взяла хоть немножко.

«Ну как, – говорит, – не понимаете?»

«Да так, – говорю, – очень просто не понимаю, да и понимать не хочу».

«Отчего это так?»

«А оттого, – говорю, – что это отврат и противность, тьпфу!» Стыжу ее; а она, смотрю, морг-морг и кидается ко мне на плечи, и целует, и плачучи говорит: «А с чем же я все-таки поеду?»

«Как с чем, мол, поедешь? А с теми деньгами-то, что он тебе дал».

«Да он мне всего, – говорит, – десять рублей дал».

«Отчего так, – говорю, – десять? Как это – всем пятьдесят, а тебе всего десять!»

«Черт его знает!» – говорит с сердцем.

И слезы даже у нее от большого сердца остановились.

«А то-то, мол, и есть!.. видно, ты чем-нибудь ему не потретила. Ах вы, – говорю, – дамки вы этикие, дамки! Не лучше ли, не честнее ли я тебе, простая женщина, советовала, чем твоя благородная посоветовала?»

«Я сама, – говорит, – это вижу».

«Раньше, – говорю, – надо было видеть».

«Что ж я, – говорит, – Домна Платоновна... я же ведь теперь уж и решилась», – и глаза это в землю тупит.

«На что ж, – говорю, – ты решилась?»

«Что ж, – говорит, – делать. Домна Платоновна, так, как вы говорили... вижу я, что ничего я не могу пособить себе. Если б, – говорит, – хоть хороший человек...»

«Что ж, – говорю, чтоб много ее словами не конфузить, – я, – говорю, – отягощусь, похлопочу, но только уже и ты ж смотри, сделай

милость, не капризничай».

«Нет, – говорит, – уж куда!..» Вижу, сама давится, а сама твердо отвечает: «Нет, – говорит, – отяготитесь, Домна Платоновна, я не буду капризничать». Узнаю тут от нее, посидевши, что эта подлая Дисленьша ее выгоняет, и то есть не то что выгоняет, а и десять рублей-то, что она, несчастная, себе от грека принесла, уж отобрала у нее и потом совсем уж ее и выгнала и бельишко – какая там у нее была рубашка да перемывашка – и то все отобрала за долг и за хвост ее, как кошку, да на улицу.

«Да знаю, – говорю я, – эту Дисленьшу».

«Она, – говорит, – Домна Платоновна, кажется, просто торговать мною хотела».

«От нее, – отвечаю, – другого-то ничего и не дождешься».

«Я, – говорит, – когда при деньгах была, я ей не раз помогала, а она со мной так обошлась, как с последней».

«Ну, душечка, – говорю, – нынче ты благодарности в людях лучше и не ищи. Нынче чем ты кому больше добра делай, тем он только готов тебе за это больше напакостить».

Тонет, так топор сулят, а вынырнет, так и топорщица жаль».

Рассуждаю этак с ней и ни-и-и думаю того, что она сама, шельма эта Леканида Петровна, как мне за все отблагодарит.

Домна Платоновна вздохнула.

– Вижу, что она все это мнется да трется, – продолжала Домна Платоновна, – и говорю: «Что ты хочешь сказать-то? Говори – лишних бревен никаких нет; в квартал надзирателю доносить некому».

«Когда же?» – спрашивает.

«Ну, – говорю, – мать моя, надо подождать: это тоже шах-мах не делается».

«Мне, – говорит, – Домна Платоновна, деться некуда».

А у меня – вот ты как зайдешь когда-нибудь ко мне, я тебе тогда покажу – есть такая каморка, так, маленькая такая, вещи там я свои, какие есть, берегу, и если случится какая тоже дамка, что места ищет иногда или случая какого дожидается, так в то время отдаю. На эту пору каморочка у меня была свободна. «Переходи, – говорю, – и живи».

Переход ее весь в том и был, что в чем при-

шла, в том и осталась: все Дисленьша, мерзавка, за долги забрала.

Ну, видя ее бедность, я дала ей тут же платье – купец один мне дарил: чудное платье, крепрошелевое, не то шикшинетеневое, так как-то материя-то эта называлась, – но только узко оно мне в лифике было. Шитвица-пакостница не потрафила, да я, признаться, и не люблю фасонных платьев, потому сжимают они очень в грудях, я все вот в этаких капотах хожу.

Ну, дала я ей это платье, дала кружевцов; перешила она это платьишко, отделала его кое-где кружевцами, и чудесное еще платьице вышло. Пошла я, сударь мой, в Штинбоков пассаж, купила ей полсапожки, с кисточками такими, с бахромочкой, с каблучками; дала ей воротничков, манишечку – ну, одним словом, нарядила молодца, яко старца; не стыдно ни самой посмотреть, ни людям показать. Даже сама я не утерпела, пошутила ей: «Франтишка, – говорю, – ты какая! умеешь все как клицу сделать».

Живем мы после этого вместе неделю, живем другую, все у нас с нею отлично: я по сво-

им делам, а она дома остается. Вдруг тут-то дело мне припало к одной не то что к дамке, а к настоящей барыне, и немолодая уж барыня, а такая-то, прости господи!.. звезда восточная. Студента все к сыну в гувернеры искала. Ну, уж я знаю, какого ей надо студента.

«Чтоб был, – говорит, – опрятный; чтоб не из этих, как вот шляются – сицилисты, – они не знают небось, где и мыло продается».

«На что ж, – говорю, – из этих? Куда они годятся!»

«И, – говорит, – чтоб в возрасте был, а не дитею бы смотрел; а то дети его и слушаться не будут».

«Понимаю, мол, все».

Отыскала я студента: мальчонко молоденький, но этакий штуковатый и чищенный, все сразу понимает. Иду-с я теперь с этим делом к этой даме; передала ей адрес; говорю: так и так, тогда и тогда будет, и извольте его посмотреть, а что такое если не годится – другого, – говорю, – найдем, и сама ухожу. Только иду это с лестницы, а в швейцарской генерал мне навстречу и вот он. И этот самый генерал, надо тебе сказать, хоть он и штатский, но

очень образованный. В доме у него роскошь такой: зеркала, лампы, золото везде, ковры, лакеи в перчатках, везде это духами накурено. Одно слово, свой дом, и живут в свое удовольствие; два этажа сами занимают: он, как взойдешь из швейцарской, сейчас налево; комнат восемь один живет, а направо сейчас другая такая ж половина, в той сын старший, тоже женатый уж года с два. На богатой тоже женился, и все как есть в доме очень ее хвалят, говорят – предобрая барыня, только чухотка, должно, у нее – очень уж худая. Ну, а наверху, сейчас по этакой лестнице – широкая-преширокая лестница и вся цветами установлена – тут сама старуха, как тетеря на токовище, сидит с меньшенькими детьми, и гувернеры-то эти там же. Ну, знаешь уж, как на большую ногу живут!

Встретил меня генерал и говорит: «Здравствуй, Домна Платоновна!» Превежливый барин.

«Здравствуйте, – говорю, – ваше превосходительство».

«У жены, что ль, была?» – спрашивает.

«Точно так, – говорю, – ваше превосходитель-

тельство, у супруги вашей, у генеральши была; кружевца, – говорю, – старинные приносила».

«Нет ли, – говорит, – у тебя чего, кроме кружевцов, хорошенького?»

«Как, – говорю, – не быть, ваше превосходительство! Для хороших, – говорю, – людей всегда на свете есть что-нибудь хорошее».

«Ну, пойдем-ка, – говорит, – пройдемся; воздух, – говорит, – нынче очень свежий».

«Погода, – отвечаю, – отличная, редко такой и дожدهшься».

Он выходит на улицу, и я за ним, а карета сзади нас по улице едет. Так вместе по Моховой и идем – ей-богу правда. Препростодушный, говорю тебе, барин!

«Что ж, – спрашивает, – чем же ты это нынче, Домна Платоновна, мне похвалишься?»

«А уж тем, мол, ваше превосходительство, похвалюсь, что могу сказать, что редкость».

– «Ой ли, правда?» – спрашивает – не верит, потому что он очень и опытный – постоянно все по циркам да по балетам и везде страшно по этому предмету со вниманием следит.

«Ну, уж хвалиться, – говорю, – вам, сударь, не стану, потому что, кажется, извольте знать, что я попусту врать на ветер не охотница, а вы, когда вам угодно, извольте, – говорю, – пожаловать. Гляженое лучше хваленого».

«Так не лжешь, – говорит, – Домна Платоновна, стоящая штучка?»

«Одно слово, – отвечаю ему я, – ваше превосходительство, больше и говорить не хочу. Не такой товар, чтоб еще нахваливать».

«Ну, посмотрим, – говорит, – посмотрим».

«Милости, – говорю, – просим. Когда пожалуете?»

«Да как-нибудь на этих днях, – говорит, – вероятно, заеду».

«Нет, – говорю, – ваше превосходительство, вы извольте назначить как наверное, так, – говорю, – и ждать будем; а то я, – говорю, – тоже дома не сижусь: волка, мол, ноги кормят».

«Ну, так я, – говорит, – послезавтра, в пятницу, из присутствия заеду».

«Очень хорошо, – говорю, – я ей скажу, чтоб дожидалась».

«А у тебя, – спрашивает, – тут в узелке-то

что-нибудь хорошенькое есть?»

«Есть, – говорю, – штучка шелковых кружев черных, отличная. Половину, – солгала ему, – половину, – говорю, – ваша супруга взяли, а половина, – говорю, – как раз на двадцать рублей осталась».

«Ну, передай, – говорит, – ей от меня эти кружева: скажи, что *добрый гений* ей посылает», – шутит это, а сам мне двадцать пять рублей бумажку подает, и сдачи, говорит, не надо: возьми себе на орехи.

Довольно тебе, что и в глаза ее не выдавши, такой презент.

Сел он в карету тут у Семионовского моста и поехал, а я Фонталкой по набережной да и домой.

«Вот, – говорю, – Леканида Петровна, и твое счастье нашлось».

«Что, – говорит, – такое?»

А я ей все по порядку рассказываю, хвалю его, знаешь, ей, как ни быть лучше: хотя, говорю, и в летах, но мужчина видный, полный, белье, говорю, тонкое носит, в очках, сказываю, золотых; а она вся так и трясется.

«Нечего, – говорю, – мой друг, тебе его бо-

ваться: может быть, для кого-нибудь другого он там по чину своему да по должности пускай и страшен, а твое, – говорю, – дело при нем будет совсем особое; еще ручки, ножки свои его целовать заставь. Им, – говорю, – одна дамка-полячка (я таки ее с ним еще и познакомила) как хотела помыкала и амантов [13], – говорю, – имела, а он им еще и отличные какие места подавал, все будто заместо своих братьев она ему их выдавала. Положись на мое слово и ничуть его не опасайся, потому что я его отлично знаю. Эта полячка, бывало, даже руку на него поднимала: сделает, бывало, истерику, да мах его рукою по очкам; только стеклышки зазвенят. А твое воспитание ничуть не ниже. А вот, – говорю, – тебе от него пока что и презентик», – вынула кружева да перед ней и положила.

Прихожу опять вечером домой, смотрю – она сидит, чулок себе штопает, а глаза такие заплаканные; гляжу, и кружева мои на том же месте, где я их положила.

«Прибрать бы, – говорю, – тебе их надо; вон хоть в комоду, – говорю, – мою, что ли, бы положила; это вещь дорогая».

«На что, – говорит, – они мне?»

«А не нравятся, так я тебе за них десять рублей деньги ворочу».

«Как хотите», – говорит. Взяла я эти кружева, смотрю, что все целы, – свернула их как должно и так, не меривши, в свой саквояж и положила.

«Вот, – говорю, – что ты мне за платье должна – я с тебя лишнего не хочу, – положим за него хоть семь рублей, да за полсапожки три целковых, вот, – говорю, – и будем квиты, а остальное там, как сочтемся».

«Хорошо», – говорит, – а сама опять плакать.

«Плакать-то теперь бы, – говорю, – не следовало».

А она мне отвечает:

«Дайте, – говорит, – мне, пожалуйста, мои последние слезы выплакать. Что вы, – говорит, – беспокоитесь? – не бойтесь, понравлюсь!»

«Что ж, – говорю, – ты, матушка, за мое же добро да на меня же фыркаешь? Тоже, – говорю, – новости: у Фили пили, да Филю ж и били!»

Взяла да и говорить с ней перестала.

Прошел четверг, я с ней не говорила. В пятницу напилась чаю, выхожу и говорю: «Изволь же, – говорю, – сударыня, быть готова: он нынче приедет».

Она как вскочит: «Как нынче! как нынче!»

«А так, – говорю, – чай, сказано тебе было, что он обещался в пятницу, а вчера, я думаю, был четверг».

«Голубушка, – говорит, – Домна Платоновна!» – пальцы себе кусает, да бух мне в ноги.

«Что ты, – говорю, – сумасшедшая? Что ты?»

«Спасите!»

«От чего, – говорю, – от чего тебя спастить-то?»

«Защитите! Пожалейте!»

«Да что ты, – говорю, – блажишь? Не сама ли же, – говорю, – ты просила?»

А она опять берет себя руками за щеки да вопит: «Душечка, душечка, пусть завтра, пусть, – говорит, – хоть послезавтра!»

Ну, вижу, нечего ее, дуру, слушать, хлопнула дверью и ушла. Приедет, думаю, он сюда – сами поладят. Не одну уж такую-то я видела:

все они попервоначально благи бывают. Что ты на меня так смотришь? Это, поверь, я правду говорю: все так-то убиваются.

– Продолжайте, – говорю, – Домна Платоновна.

– Что ж, ты думаешь, она, поганка, сделала?

– А кто ее знает, что ее черт угораздил сделать! – сорвалось у меня со злости.

– Уж именно правда твоя, что черт ее угораздил, – отвечала с похвалою моей прозорливости Домна Платоновна. – Этакого человека, такую вельможу она, шельмовка такая, и в двери не пустила!.. Стучал-стучал, звонил-звонил – она тебе хоть бы ему голос какой подала. Вот ведь какая хитростная – на что отважилась! Сидит запершись, словно ее и духу там нет. Захожу я вечером к нему – сейчас меня впустили – и спрашиваю: «Ну что, – говорю, – обманула я вас, ваше превосходительство?» – а он туча тучей. Рассказывает мне все, как он был и как ни с чем назад пошел.

«Этак, – говорит, – Домна Платоновна, любезная моя, с порядочными людьми не посту-

пают».

«Батюшка, – говорю, – да как это можно! верно, – говорю, – она куда на минутую выходила или что такое – не слыхала», – ну, а сама себе думаю: «Ах ты, варварка! ах ты, злодейка этакая! страмовщица ты!»

«Пожалуйте, – прошу его, – ваше превосходительство, завтра – верно вам ручаюсь, что все будет как должно».

Да ушедши-то от него домой, да бегом, да бегом. Прибегаю, кричу:

«Варварка! варварка! что ж ты это, варварка, со мной наделала? С каким ты меня человеком, может быть, расстроила? Ведь ты, – говорю, – сама со всей твоей родней-то да и с целой губернией-то с вашей и сапога его одного отоптанного не стоишь! Он, – говорю, – в прах и в пепел всех вас и все начальство-то ваше истереть одной ногой может. Чего ж ты, бездельница этакая, модничаешь? Даром я, что ли, тебя кормлю? Я бедная женщина; я на твоих же глазах день и ночь постоянно отягощаюсь; я на твоих же глазах веду самую прекрасительную жизнь, да еще ты, – говорю, – щелчок ты этакой, нахлебница навязалась!»

И как уж я ее тут-то ругала! Как страшно я ее с сердцов ругала, что ты не поверишь. Кажется б вот взяла я да глаза ей в сердцах по-выцарапала.

Домна Платоновна сморгнула набежавшую на один глаз слезу и проговорила между строк: «Даже теперь жалко, как вспомню, как я ее тогда обидела».

«Гольтепа ты дворянская! – говорю ей, – вон от меня! вон, чтоб и дух твой здесь не пах!» – и даже за рукав ее к двери бросила. Ведь вот, ты скажи, что с сердцов человек иной раз делает: сама назавтри к ней такого грандеву пригласила, а сама ее нынче же вон выгоняю! Ну, а она – на эти мои слова сейчас и готова – и к двери.

У меня уж было и сердце все проходить стало, как она все это стояла-то да молчала, а уж как она по моему по последнему слову к двери даже обернулась, я опять и вскипела.

«Куда, куда, – говорю, – такая-сякая, ты летишь?»

Уж и сама даже не помню, какими ее словами опять изругала.

«Оставайся, – говорю, – не смей ходить!..»

«Нет, я, – говорит, – пойду».

«Как пойдешь? как ты смеешь идтить?»

«Что ж, – говорит, – вы, Домна Платоновна, на меня сердитесь, так лучше же мне уйти».

«Сержусь! – говорю. – Нет, я мало что на тебя сержусь, я тебя буду бить».

Она вскрикнула, да в дверь, а я ее за ручку, да назад, да тут-то сгоряча оплеух с шесть таки горячих ей и закатила.

«Воровка ты, – говорю, – а не дама», – кричу на нее; а она стоит в уголке, как я ее оттрепала, и вся, как кленов лист, трясется, но и тут, заметь, свою анбицию дворянскую почувствовала.

«Что ж, – говорит, – такое я у вас украла?»

«Космы-то, – говорю, – патлы-то свои подбери, – потому я ей всю прическу расстроила. – То, – говорю, – ты у меня украла, что я тебя, варварку, поила-кормила две недели; обула-одела тебя; я, – говорю, – на всякий час отягощаюсь, я веду прекратительную жизнь, да еще через тебя должна куска хлеба лишиться, как ты меня с таким человеком поссорила!»

Смотрю, она потихоньку косы свои опять в пучок подвернула, взяла в ковшик холодной

воды – умылась: голову расчесала и села. Смирно сидит у окошечка, только все жестяное зеркальце потихонечку к щекам прикладывает. Я будто не смотрю на нее, раскладываю по столу кружева, а сама вижу, что щеки-то у нее так и горят.

«Ах, – думаю, – напрасно ведь это я, злодейка, так уж очень ее обидела!»

Все, что стою над столом да думаю – то все мне ее жалче; что стою думаю – то все жалче.

Ахти мне, горе с моим добрым сердцем! Никак я с своим сердцем не совладаю. И досадно, и знаю, что она виновата и вполне того заслужила, а жалко.

Выскочила я на минуточку на улицу – тут у нас, в вашем же доме, под низом кондитерская, – взяла десять штукек песочного пирожного и прихожу; сама поставила самовар; сама чаю чашку ей налила и подаю с пирожным. Она взяла из моих рук чашку и пирожное взяла, откусила кусочек, да меж зубов и держит. Кусочек держит, а сама вдруг улыбается, улыбается, и весело улыбается, а слезы кап-кап-кап, так и брызжут; таки вот просто не текут, а как сок из лимона, если подавишь,

брызжут.

«Полно, – говорю, – не обижайся».

«Нет, – говорит, – я ничего, я ничего, я ничего...» – да как зарядила это: «я ничего» да «я ничего» – твердит одно, да и полно.

«Господи! – думаю, – уж не сделалось ли ей помрачение смыслов?» Водой на нее брызнула; она тише, тише и успокоилась: села в уголку на постелишке и сидит. А меня все, знаешь, совесть мутит, что я ее обидела. Помолилась я богу – прочитала, как еще в Мценске священник учил от запаления ума: «Благого царя благая мати, пречистая и чистая», – и сняла с себя капотик, и подхожу к ней в одной юбке, и говорю: «Послушай ты меня, Леканида Петровна! В Писании читается: „да не зайдет солнце во гневе вашем“; прости же ты меня за мою дерзость; давай помиримся!» – поклонилась ей до земли и взяла ее руку поцеловала: вот тебе, ей-богу, как завтрашний день хочу видеть, так поцеловала. И она, смотрю, наклоняется ко мне и в плечо меня чмок, гляжу – и тоже мою руку поцеловала, и сами мы между собою обе друг дружку обняли и поцеловались.

«Друг мой, – говорю, – ведь я не со злости какой или не для своей корысти, а для твоего же добра!» – толкую ей и по головке ее ласкаю, а она все этак скороговоркой:

«Хорошо, хорошо; благодарю вас, Домна Платоновна, благодарю».

«Вот он, – говорю, – завтра опять придет».

«Ну что ж, – говорит, – ну что ж! очень хорошо, пусть приезжает».

Я ее опять по головке глажу, волоски ей за ушко заправляю, а она сидит и глазком с ланпады не смигнет. Ланпад горит перед образами таково тихо, сияние от икон на нее идет, и вижу, что она вдруг губами все шевелит, все шевелит.

«Что ты, – спрашиваю, – душечка, богу это, что ли, молишься?»

«Нет, – говорит, – это я, Домна Платоновна, так».

«Что ж, – говорю, – я думала, что ты это молишься, а так самому с собой разговаривать, друг мой, не годится. Это только одни помещанные сами с собою разговаривают».

«Ах, – отвечает она мне, – я, – говорит, – Домна Платоновна, уж и сама думаю, что я,

кажется, помешанная. На что я только иду! на что я это иду!» – заговорила она вдруг, и в грудь себя таково изо всей силы ударяет.

«Что ж, – говорю, – делать? Так тебе, верно, путь такой тяжелый назначен».

«Как, – говорит, – такой мне путь назначен? Я была честная девушка! я была честная жена! Господи! господи! да где же ты? Где же, где бог?»

«Бога, – говорю, – читается, друг мой, никто же виде и нигде же».

«А где же есть сожалительные, добрые христиане? Где они? где?»

«Да здесь, – говорю, – и христиане».

«Где?»

«Да как где? Вся Россия – все христиане, и мы с тобой христианки».

«Да, да, – говорит, – и мы христианки...» – и сама, вижу, эти слова выговаривает и в лице страшная становится. Словно она с кем с невидимым говорит.

«Фу, – говорю, – да сумасшедшая ты, что ли, в самом деле? что ты меня пужаешь-то? что ты ропот-то на создателя своего произносишь?»

Смотрю: сейчас она опять смирилась, плачет опять тихо и рассуждает:

«Из-за чего, – говорит, – это я только все себе наделала? Каких я людей слушала? Разбили меня с мужем; натолковали мне, что он и тиран и варвар, когда это совсем неправда была, когда я, *я сама*, презренная и низкая капризница, я жизнь его отравляла, а не покоила. Люди! подлые вы люди! сбили меня; насылили мне здесь горы золотые, а не сказали про реки огненные. Муж меня теперь бросил, смотреть на меня не хочет, писем моих не читает. А завтра я... бррр...х!»

Вся даже задрожала.

«Маменька! – стала звать, – маменька! если б ты меня теперь, душечка, видела? Если б ты, чистенький ангел мой, на меня теперь посмотрела из своей могилки? Как она нас, Домна Платоновна, воспитывала! Как мы жили хорошо; ходили всегда чистенькие; все у нас в доме было такое хорошенькое; цветочки мама любила; бывало, – говорит, – возьмет за руки и пойдем двое далеко... в луга пойдем...»

Тут-то, знаешь ты, сон у меня удивительный – слушала я, как это хорошо все она вспо-

минает, и заснула.

Ну, представь же ты теперь себе: сплю это; заснула у нее, на ее постеленке, и как пришла к ней, совсем даже в юбке заснула, и опять тебе говорю, что сплю я свое время крепко, и снов никогда никаких не вижу, кроме как разве к какому у меня воровству; а тут все это мне видятся роци такие, палисадники и она, эта Леканида Петровна. Будто такая она маленькая, такая хорошенькая: головка у нее русая, вся в кудряшках, и носит она в ручках веночек, а за нею собачка, такая беленькая собачка, и все на меня гам-гам, гам-гам – будто сердится и укусить меня хочет. Я будто нагинаюсь, чтоб поднять палочку, чтоб эту собачку от себя отогнать, а из земли вдруг мертвая ручища: хватить меня вот за самое за это место, за кость. Вскинулась я, смотрю – свое время я уж проспала и руку страсть как неловко пере-лежала. Ну, оделась я, помолилась богу и чайку напилась, а она все спит.

«Пора, – говорю, – Леканида Петровна, вставать; чай, – говорю, – на конфорке стоит, а я, мой друг, ухожу».

Поцеловала ее на постели в лоб, истинно

говорю тебе, как дочь родную жалеючи, да из двери-то выходя, ключик это потихоньку вынула да в карман.

«Так-то, – думаю, – дело честнее будет».

Захожу к генералу и говорю: «Ну, ваше превосходительство, теперь дело не мое. Я свое сделала – пожалуйста поскорей», – и ему отдала ключ.

– Ну-с, – говорю, – милая Домна Платоновна, не на этом же все кончилось?

Домна Платоновна засмеялась и головой закачала с таким выражением, что смешны, мол, все люди на белом свете.

– Прихожу я домой нарочно попозже, смотрю – огня нет.

«Леканида Петровна!» – зову.

Слышу, она на моей постели ворочается.

«Спишь?» – спрашиваю; а самое меня, знаешь, так смех и подмывает.

«Нет, не сплю», – отвечает.

«Что ж ты огня, мол, не засветишь?»

«На что ж он мне, – говорит, – огонь?»

Зажгла я свечу, раздула самоваришку, зову ее чай пить.

«Не хочу, – говорит, – я», – а сама все к стен-

ке заворачивается.

«Ну, по крайности, – говорю, – встань же, хоть на свою постель перейди: мне мою постель надо поправить».

Вижу, поднимается, как волк угрюмый. Взглянула исподлобья на свечу и глаза рукой заслоняет.

«Что ты, – спрашиваю, – глаза закрываешь?»

«Больно, – отвечает, – на свет смотреть».

Пошла, и слышу, как была опять совсем в платье одетая, так и повалилась.

Разделась и я как следует, помолилась богу, но все меня любопытство берет, как тут у них без меня были подробности? К генералу я побоялась идти: думаю, чтоб опять афронта [14] какого не было, а ее спросить даже следует, но она тоже как-то не допускает. Дай, думаю, с хитростью к ней подойду. Вхожу к ней в каморку и спрашиваю:

«Что, никого, – говорю, – тут, Леканида Петровна, без меня не было?»

Молчит.

«Что ж, – говорю, – ты, мать, и ответить не хочешь?»

А она с сердцем этак: «Нечего, – говорит, – вам меня расспрашивать».

«Как же это, – говорю, – нечего мне тебя расспрашивать? Я хозяйка».

«Потому, – говорит, – что вы без всяких вопросов очень хорошо все знаете», – и это, уж я слышу, совсем другим тоном говорит.

Ну, тут я все дело, разумеется, поняла.

Она только вздыхает; и пока я улеглась и уснула – все вздыхает.

– Это, – говорю, – Домна Платоновна, уж и конец?

– Это первому действию, государь мой, конец.

– А во втором-то что же происходило?

– А во втором она вышла против меня мерзавка – вот что во втором происходило.

– Как же, – спрашиваю, – это, Домна Платоновна, очень интересно, как так это сделалось?

– А так, сударь мой, и сделалось, как делается: силу человек в себе почуял, ну сейчас и свиньей стал.

– И вскоре, – говорю, – это она так к вам переменилась?

– Тут же таки. На другой день уж всю это свою козью прыть показала. На другой день я, по обнаковению, в свое время встала, сама поставила самовар и села к чаю около ее постели в каморочке, да и говорю: «Иди же, – говорю, – Леканида Петровна, умывайся да богу молись, чай пора пить». Она, ни слова не говоря, вскочила и, гляжу, у нее из кармана какая-то бумажка выпала. Нагинаюсь я к этой бумажке, чтоб поднять ее, а она вдруг сама, как ястреб, на нее бросается.

«Не троньте!» – говорит, и хап ее в руку.

Вижу, бумажка сторублевая.

«Что ж ты, – говорю, – так, матушка, рычишь?»

«Так хочу, так и рычу».

«Успокойся, – говорю, – милая; я, слава богу, не Дисленьша, в моем доме никто у тебя твоего добра отнимать не станет».

Ни слова она мне в ответ не сказала: мой чай пьет и на меня ж глядеть не хочет; возьми ты это, хоть кому-нибудь доведися – станет больно. Ну, однако, я ей это спустила, думала, что она это еще в расстройке, и точно, вижу, что как это ворот-то у нее в рубашке

широкий, так видно, знаешь, как грудь-то у ней так вот и вздрагивает, и на что, я тебе сказывала, была она собою телом и бела и розовая, точно пух в атласе, а тут, знаешь, будто вдруг она какая-то темная мне показалась телом, и все у нее по голым плечам-то сиротки вспрыгивают, пупырышки эти такие, что вот с холоду когда выступают. Холеной неженке первый снежок труден. Я ее даже молча и пожалела еще и никак себе не воображала, какая она ехидная.

Вечером прихожу: гляжу – она сидит перед свечкой и рубашку себе новую шьет, а на столе перед ней еще так три, не то четыре рубашки лежат прикроенные.

«Почем, – спрашиваю, – брала полотно?»

А она этак тихо-тихохонько мне вот что отвечает:

«Я, – говорит, – Домна Платоновна, желала вас просить: оставьте вы меня, пожалуйста, с вашими разговорами».

Смотрю, вид у нее такой покойный, будто совсем и не сердится. «Ну, – думаю, – матушка, когда ты такая, так и я же к тебе стану иная».

«Я, – говорю ей, – Леканида Петровна, в своем доме хозяйка и все говорить могу; а тебе если мои разговоры неприятны, так не угодно ли, – говорю, – отправляться куда угодно».

«И не беспокойтесь, – говорит, – я и отправлюсь».

«Только прежде всего надо, – я говорю, – рассчитаться: честные люди, не рассчитавшись, не съезжают».

«Опять, – говорит, – не беспокойтесь».

«Я, – отвечаю, – не беспокоюсь», – ну, только считаю ей за полтора месяца за квартиру десять рублей и что пила-ела пятнадцать рублей, да за чай, говорю, положим хоть три целковых, тридцать один целковый, говорю. За свечи тут-то не посчитала, и что в баню с собой два раза ее брала, и то тоже забыла.

«Очень хорошо-с, – отвечает, – все будет вам заплачено».

На другой день вечером ворочаюсь опять домой, застаю ее, что она опять сидит себе рубашку шьет, а на стенке, так насупротив ее, на гвоздике висит этакой бурнус, черный атласный, хороший бурнус, на гроденаплевой

подкладке и на пуху. Закипело у меня, знаешь, что все это через меня, через мое радетельство получила, да еще без меня же, словно будто потоймя от меня справляет.

«Бурнусы-то, – говорю, – можно б, мне кажется, погодить справлять, а прежде б с долгами расчесться».

Она на эти мои слова сейчас опускает белую рученьку в карман; вытаскивает оттуда бумажку и подает. Смотрю, в этой бумажке аккуратно тридцать и один целковый.

Взяла я деньги и говорю: «Благодарствуйте, – говорю, – Леканида Петровна». Уж «вы» ей, знаешь, нарочно говорю.

«Не за что-с, – отвечает, – а сама и глаз на меня даже с работы не вскинет; все шьет, все шьет; так игла-то у нее и летает.

«Постой же, – думаю, – змейка ты зеленая; не очень еще ты чванься, что ты со мною расплатилась».

«Это, – говорю, – Леканида Петровна, вы мне мои расходы вернули, а что ж вы мне за мои за хлопоты пожалуете?»

«За какие, – спрашивает, – за хлопоты?»

«Как же, – говорю, – я вам стану объяснять?»

сами, чай, понимаете».

А она это шьет, наперстком-то по рубцу водит, да и говорит, не глядя: «Пусть, – говорит, – вам за эти ваши милые хлопоты платит тот, кому они были нужны».

«Да ведь вам, – говорю, – они больше всех нужны-то были».

«Нет, мне, – говорит, – они не были нужны. А впрочем, сделайте милость, оставьте меня в покое».

Довольно с тебя этой дерзости! Но я и ею пренебрегла. Пренебрегла и оставила, и не говорю с нею, и не говорю.

Только наутро, где бы пить чай, смотрю – она убралась; рубашку эту, что ночью дошила, на себя надела, недошитые свернула в платочек; смотрю, нагинается, из-под кровати вытащила кордонку, шляпочку оттуда достает... Прехорошенькая шляпочка... все во всем ее вкусе... Надела ее и говорит: «Прощайте, Домна Платоновна».

Жаль мне ее опять тут, как дочь родную, стало: «Постой же, – говорю ей, – постой, хоть чаю-то напейся!»

«Покорно благодарю, – отвечает, – я у себя

буду пить чай».

Понимай, значит, – то, что у себя! Ну, бог с тобой, я и это мимо ушей пустила.

«Где ж, – говорю, – ты будешь жить?»

«На Владимирской, – говорит, – в Тарховом доме».

«Знаю, – говорю, – дом отличный, только дворники большие повесы».

«Мне, – говорит, – до дворников дела нет».

«Разумеется, – говорю, – мой друг, разумеется! Комнатку себе, что ли, наняла?»

«Нет, – отвечает, – квартиру взяла, с кухаркой буду жить».

Вон, вижу, куда заиграло! «Ах ты, хитрая! – говорю, – хитрая! – шутя на нее, знаешь, пальцем грожусь. – Зачем же, – говорю, – ты меня обманывала-то, говорила, что к мужу-то поедешь?»

«А вы, – говорит, – думаете, что я вас обманывала?»

«Да уж, – отвечаю, – что тут думать! когда б имела желание ехать, то, разумеется, не нанимала б тут квартиры».

«Ах, – говорит, – Домна Платоновна, как мне вас жалко! ничего вы не понимаете».

«Ну, – говорю, – уж не хитри, душечка! Вижу, что ты умно обделала дельце».

«Да вы, – говорит, – что это толкуете! Разве такие мерзавки, как я, к мужьям ездят?»

«Ах, мать ты моя! что ты это, – отвечаю, – себя так уж очень мерзавишь! И в пять раз мерзавней тебя, да с мужьями живут».

А она, уж совсем это на пороге-то стоячи, вдруг улыбнулась, да и говорит: «Нет, извините меня, Домна Платоновна, я на вас сердилась; ну, а вижу, что на вас нельзя сердиться, потому что вы совсем глупы».

Это вместо прощанья-то! нравится это тебе? «Ну, – подумала я ей вслед, – глупа-неглупа, а, видно, умней тебя, потому, что я захотела, то с тобой, с умницей, с воспитанной, и сделала».

Так она от меня сошла, не то что с ссорой, а все как с небольшим удовольствием. И не видала я ее с тех пор, и не видала, я думаю, больше как год. В это-то время у меня тут как-то работку бог давал: четырех купцов я женила; одну полковницкую дочь замуж выдала; одного надворного советника на вдове, на купчихе, тоже женила, ну и другие разные де-

да тоже перепадали, а тут это товар тоже из своего места насылали – так время и прошло. Только вышел тут такой случай: была я один раз у этого самого генерала, с которым Леканидку-то познакомила: к невестке его зашла. С сыном-то с его я давно была знакома: такой тоже весь в отца вышел. Ну, прихожу я к невестке, мантиль[15] блондовую[16] она хотела дать продать, а ее и нет: в Воронеж, говорят, к Митрофанию-угоднику поехала.

«Зайду, – думаю, – по старой памяти к барину».

Всхожу с заднего хода, никого нет. Я потихонечку топы-топы, да одну комнату прошла и другую, и вдруг, сударь ты мой, слышу Леканидкин голос: «Шарман мой! – говорит, – я, – говорит, – люблю тебя; ты одно мое счастье земное!»

«Отлично, – думаю, – и с папенькой и с сыночком романсы проводит моя Леканида Петровна», да сама опять топы-топы да теми же пятами вон. Узнаю-поузнаю, как это она познакомилась с этим, с молодым-то, – аж выходит, что жена-то молодого сама над нею сжалась, навещать ее стала потихоньку, все

это, знаешь, жалеючи ее, что такая будто она дамка образованная да хорошая; а она, Леканидка, ей, не хуже как мне, и отблагодарила. Ну, ничего, не мое это, значит, дело; знаю и молчу; даже еще покрываю этот ее грех, и где следует виду этого не подаю, что знаю. Прошло опять чуть не с год ли. Леканидка в ту пору жила в Кирпичном переулке. Собиралась я это на средокрестной неделе говеть и иду этак по Кирпичному переулку, глянула на дом-то да думаю: как это нехорошо, что мы с Леканидой Петровной такое время поссорившись; тела и крови готовясь принять – дай зайду к ней, помирюсь! Захожу. Парад такой в квартире, что лучше требовать нельзя. Горничная – точно как барышня.

«Доложите, – говорю, – умница, что, мол, кружевница Домна Платоновна желает их видеть?».

Пошла и выходит, говорит: «Пожалуйте».

Вхожу в гостиную; таково тоже все парадно, и на диване сидит это сама Леканидка и генералова невестка с ней: обе кофий кушают. Встречает меня Леканидка будто и ничего, будто со вчера всего только не видались.

Я тоже со всей моей простотой: «Славно, – говорю, – живешь, душечка; дай бог тебе и еще лучше».

А она с той что-то вдруг и залопотала по-французски. Не понимаю я ничего по-ихнему. Сижу, как дура, глазею по комнате, да и зевать стала.

«Ах, – говорит вдруг Леканидка, – не хотите ли вы, Домна Платоновна, кофию?»

«Отчего ж, – говорю, – позвольте чашечку».

Она это сейчас звонит в серебряный колокольчик и приказывает своей девке: «Даша, – говорит, – напоите Домну Платоновну кофе-ем».

Я, дура, этого тогда сразу-то и не поняла хорошенько, что такое значит *напоите*; только смотрю, так минут через десять эта самая ее Дашка входит опять и докладывает: «Готово, – говорит, – сударыня».

«Хорошо, – говорит ей в ответ Леканидка, да и оборачивается ко мне: – Подите, – говорит, – Домна Платоновна: она вас напоит».

Ух, уж на это меня взорвало! Сверзну я ее, подумала себе, но удержалась. Встала и говорю: «Нет, покорно вас благодарю, Леканида

Петровна, на вашем угощении. У меня, – говорю, – хоть я и бедная женщина, а у меня и свой кофий есть».

«Что ж, – говорит, – это вы так рассердились?»

«А то, – прямо ей в глаза говорю, – что вы со мной мою хлеб-соль вместе кушивали, а меня к своей горничной посылаете: так это мне, разумеется, обидно».

«Да моя, – говорит, – Даша – честная девушка; ее общество вас оскорблять не может», – а сама будто, показалось мне, как улыбается.

«Ах ты, змея, – думаю, – я тебя у сердца моего пригрела, так ты теперь и по животу ползешь!» «Я, – говорю, – у этой девицы чести ее нисколько не снимаю, ну только не вам бы, – говорю, – Леканида Петровна, меня с своими прислугами за один стол сажать».

«А отчего это, – спрашивает, – так, Домна Платоновна, не мне?»

«А потому, – говорю, – матушка, что вспомни, что ты была, и посмотри, что ты есть и кому ты всем этим обязана».

«Очень, – говорит, – помню, что была я честной женщиной, а теперь я дрянь и обяза-

на этом вам, вашей доброте, Домна Платоновна».

«И точно, – отвечаю, – речь твоя справедлива, прямая ты дрянь. В твоём же доме, да ничего не боясь, в глаза тебе эти слова говорю, что ты дрянь. Дрянь ты была, дрянь и есть, а не я тебя дрянью сделала».

А сама, знаешь, беру свой саквояж.

«Прощай, – говорю, – госпожа великая!»

А эта генеральская невестка-то чахоточная как вскочит, дохлая: «Как вы, – говорит, – смеете оскорблять Леканиду Петровну!»

«Смею, – говорю, – сударыня!»

«Леканида Петровна, – говорит, – очень добра, но я, наконец, не позволю обижать ее в моем присутствии: она мой друг».

«Хорош, – говорю, – друг!»

Тут и Леканидка, гляжу, вскочила да как крикнет: «Вон, – говорит, – гадкая ты женщина!»

«А! – говорю, – гадкая я женщина? Я гадкая, да я с чужими мужьями романсов не провождаю. Какая я ни на есть, да такого не делала, чтоб и папеньку и сыночка одними прелестями-то своими прельщать! Извольте, – гово-

рю, – сударыня, вам вашего друга, уж вполне, – говорю, – друг».

«Лжете, – говорит, – вы! Я не поверю вам, вы это со злости на Леканиду Петровну говорите».

«Ну, а со злости, так вот же, – говорю, – теперь ты меня, Леканида Петровна, извини; теперь, – говорю, – уж я тебя сверзну», – и все, знаешь, что слышала, что Леканидка с мужем-то ее тогда чекотала, то все им и высыпала на стол, да и вон.

– Ну-с, – говорю, – Домна Платоновна?

– Бросил ее старик после этого скандала.

– А молодой?

– Да с молодым нешто у нее интерес был какой! С молодым у нее, как это говорится так, – пур-амур любовь шла. Тоже ведь, гляди ты, шушваль этакая, а без любви никак дышать не могла. Как же! нельзя же комиссару без штанов быть. А вот теперь и без любви обходится.

– Вы, – говорю, – почему это знаете, что обходится?

– А как же не знаю! Стало быть, что обходится, когда живет в такой жизни, что нынче

один князь, а завтра другой граф; нынче англичанин, завтра итальянец иди испанец какой. Уж тут, стало, не любовь, а деньги. Бзырит[17] по магазинам да по Невскому в такой коляске лежащей на рысаках катается...

– Ну, так вы с тех пор с нею и не встречаетесь.

– Нет. Зла я на нее не питаю, но не хожу к ней. Бог с нею совсем! Раз как-то на Морской нынче по осени выхожу от одной дамы, а она на крыльцо всходит. Я таки дала ей дорогу и говорю: «Здравствуйте, Леканида Петровна!» – а она вдруг, зеленая вся, наклонилась ко мне, с крылечка-то, да этак к самому к моему лицу, и с ласковой такой миной отвечает: «Здравствуй, мерзавка!»

Я даже не утерпел и рассмеялся.

– Ей-богу! «Здравствуй, – говорит, – мерзавка!» Хотела я ей тут-то было сказать: не мерзавь, мол, матушка, сама ты нынче мерзавка, да подумала, что лакей-то этот за нею, и зонтик у него большой в руках, так уж проходи, думаю, налево, французская королева.

Со времени сообщения мне Домною Платоновной повести Леканиды Петровны прошло лет пять. В течение этих пяти лет я уезжал из Петербурга и снова в него возвращался, чтобы слушать его неумолчный грохот, смотреть бледные, озабоченные и задавленные лица, дышать смрадом его испарений и хандрить под угнетающим впечатлением его чахоточных белых ночей, – Домна Платоновна была все та же. Везде она меня как-то случайно отыскивала, встречалась со мной с дружескими поцелуями и объятиями и всегда неустанно жаловалась на злокозненные происки человеческого рода, избравшего ее, Домну Платоновну, своей любимой жертвой и каким-то вечным игралищем. Много рассказала мне Домна Платоновна в эти пять лет разных историй, где она была всегда поприще, оскорблена и обижена за свои же добродетели и попечения о нуждах человеческих.

Разнообразны, странны и многообильны всякими приключениями бывали эти интересные и бесхитростные рассказы моей доб-

родушной Домны Платоновны. Много я слышал от нее про разные свадьбы, смерти, наследства, воровства-кражи и воровства-мошенничества, про всякий нагольный и крытый разврат, про всякие петербургские мистерии и про вас, про ваши назидательные похождения, мои дорогие землячки Леканиды Петровны, про вас, везущих сюда с вольной Волги, из раздольных степей саратовских, с тихой Оки и из золотой благословенной Украины свои свежие, здоровые тела, свои задорные, но незлобивые сердца, свои безумно смелые надежды на рок, на случай, на свои ни к чему не годные здесь силы и порывания.

Но возвращаемся к нашей приятельнице Домне Платоновне. Вас, кто бы вы ни были, мой снисходительный читатель, не должно оскорблять, что я назвал Домну Платоновну нашей общей приятельницей. Предполагая в каждом читателе хотя самое малое знакомство с Шекспиром, я прошу его припомнить то гамлетовское выражение, что «если со всяким человеком обращаться по достоинству, то очень немного найдется таких, которые не заслуживали бы порядочной оплеухи».[18]

Трудно бывает проникнуть во святая святых человека!

Итак, мы с Домной Платоновной все водили хлеб-соль и дружбу; все она навещала меня и вечно, поспешая куда-нибудь по делу, засиживалась по целым часам на одном месте. Я тоже был у Домны Платоновны два или три раза в ее квартире у Знаменья и видел ту каморочку, в которой укрывалась до своего акта отречения Леканида Петровна, видел ту кондитерскую, в которой Домна Платоновна брала песочное пирожное, чтобы подкормить ее и утешить; видел, наконец, двух свежепривозных молодых «дамок», которые прибыли искать в Петербурге счастья и попали к Домне Платоновне «на Леканидкино место»; но никогда мне не удавалось выведать у Домны Платоновны, какими путями шла она и дошла до своего нынешнего положения и до своих оригинальных убеждений насчет собственной абсолютной правоты и всеобщего стремления ко всякому обману. Мне очень хотелось знать, что такое происходило с Домной Платоновной прежде, чем она зарядила: «Э, ге-ге, нет уж ты, батюшка, со мной, сделай

милость, не спорь; я уж это лучше тебя знаю». Хотелось знать, какова была та благословенная купеческая семья на Зуше, в которой (то есть в семье) выросла этакая круглая Домна Платоновна, у которой и молитва, и пост, и собственное целомудрие, которым она хвалилась, и жалость к людям сходились вместе с сватовскою ложью, артистическою склонностью к устройству коротеньких браков не любви ради, а ради интереса, и т.п. Как это, я думал, все пробралось в одно и то же толстенькое сердце и уживается в нем с таким изумительным согласием, что сейчас одно чувство толкает руку отпустить плачущей Леканиде Петровне десять пощечин, а другое поднимает ноги принести ей песочного пирожного; то же сердце сжимается при сновидении, как мать чистенько водила эту Леканиду Петровну, и оно же спокойно бьется, приглашая какого-то толстого борова поспешить как можно скорее запечатать эту Леканиду Петровну, которой теперь нечем и запечатать своего тела!

Я понимал, что Домна Платоновна не преследовала этого дела в виде промысла, а при-

нимала *по-питерски*, как какой-то неотразимый закон, что женщине нельзя выпутаться из беды иначе, как на счет своего собственного падения. Но все-таки, что же ты такое, Домна Платоновна? Кто тебя всему этому вразумил и на этот путь поставил? Но Домна Платоновна, при всей своей словоохотливости, терпеть не могла касаться своего прошлого.

Наконец неожиданно вышел такой случай, что Домна Платоновна, совершенно ненароком и без всяких с моей стороны подходов, рассказала мне, как она была *проста* и как «они» ее *вышколили* и довели до того, что она *теперь никому на синь-порох не верит*. Не ждите, любезный читатель, в этом рассказе Домны Платоновны ничего цельного. Едва ли он много поможет кому-нибудь выяснить себе процесс умственного развития этой петербургской деятельницы. Я передаю вам дальнейший рассказ Домны Платоновны, чтобы немножко вас позабавить и, может быть, дать вам случай один лишний раз призадуматься над этой тупой, но страшной силой «петербургских обстоятельств», не только создающих и вырабатывающих Домну Плато-

новну, но еще предающих в ее руки лезущих в воду, не спрося броду, Леканид, для которых здесь Домна становится тираном, тогда как во всяком другом месте она сама чувствовала бы себя перед каждою из них парией или много что шутихой.

Был я в Петербурге болен и жил в то время в Коломне. Квартира у меня, как выразилась Домна Платоновна, «была какая-то особенная». Это были две просторные комнаты в старинном деревянном доме у маленькой деревянной купчихи, которая недавно схоронила своего очень благочестивого супруга и по вдовьему положению занялась ростовщичеством, а свою прежнюю опочивальню, вместе с трехспальной кроватью, и смежную с спальней гостиную комнату, с громадным китом, перед которым ежедневно маливался ее покойник, пустила внаем.

У меня в так называемом зале были: диван, обитый настоящей русской кожей; стол круглый, обтянутый полинявшим фиолетовым плисом с совершенно бесцветною шелковою бахромою; столовые часы с медным арапом; печка с горельефной фигурой во впадине, в которой настаивалась настойка; длинное зеркало с очень хорошим стеклом и бронзовую арфу на верхней доске высокой рамы. На стенах висели: масляный портрет покой-

ного императора Александра I; около него, в очень тяжелых золотых рамах за стеклами, помещались литографии, изображавшие четыре сцены из жизни королевы Женевиевы; император Наполеон по инфантерии и император Наполеон по кавалерии; какая-то горная вершина; собака, плавающая на своей конуре, и портрет купца с медалью на анненской ленте. В дальнем углу стоял высокий, трехъярусный образник с тремя большими иконами с темными ликами, строго смотревшими из своих блестящих золоченых окладов; перед образником лампада, всегда тщательно зажигаемая моею набожной хозяйкой, а внизу под образами шкафчик с полукруглыми дверцами и бронзовым кантом на месте створа. Все это как будто не в Петербурге, а будто на Замоскворечье или даже в самом городе Мценске. Спальня моя была еще более мценская; даже мне казалось, что та трехспальная постель, в пуховиках которой я утопал, была не постель, а именно сам Мценск, проживающий инкогнито в Петербурге. Стоило только мне погрузиться в эти пуховые волны, как какое-то снотворное, маковое покры-

вало тотчас надвигалось на мои глаза и застилало от них весь Петербург с его веселящейся скукой и скучающей веселостью. Здесь, при этой-то успокоивающей мценской обстановке, мне снова довелось всласть побеседовать с Домной Платоновной.

Я простудился, и врач велел мне полежать в постели.

Раз, так часу в двенадцатом серенького мартовского дня, лежу я, уже выздоравливающий, и, начитавшись досыта, думаю: «Не худо, если бы кто-нибудь и зашел», да не успел я так подумать, как словно с этого моего желания случилось – дверь в мою залу скрипнула, и послышался веселый голос Домны Платоновны:

– Вот как это у тебя здесь прекрасно! и образа, и сияние перед божьим благословением – очень-очень даже прекрасно.

– Матушка, – говорю, – Домна Платоновна, вы ли это?

– Да некому, – отвечает, – друг мой, и быть, как не мне.

Поздоровались.

– Садитесь! – прошу Домну Платоновну.

Она села на креслице против моей постели и ручки свои с белым платочком на коленочках положила.

– Чем так хвораешь? – спрашивает.

– Простудился, – говорю.

– А то нынче очень много народу все на животы жалуются.

– Нет, я, – говорю, – я на живот не жалуюсь.

– Ну, а на живот не жалуешься, так это пройдет. Квартира у тебя нынче очень хороша.

– Ничего, – говорю, – Домна Платоновна.

– Отличная квартира. Я эту хозяйку, Любовь Петровну, давно знаю. Прекрасная женщина. Она прежде была испорчена и на голоса крикивала, да, верно, ей это прошло.

– Не знаю, – говорю, – что-то будто не слышно, не кричит.

– А у меня-то, друг мой, какое горе! – проговорила Домна Платоновна своим жалостным голосом.

– Что такое, Домна Платоновна?

– Ах, такое, дружок, горе, такое горе, что... ужасное, можно сказать, и горе и несчастье, все вместе. Видишь, вон в чем я нынче

товар-то ношу.

Посмотрел я, перегнувшись с кровати, и вижу на столике кружева Домны Платоновны, увязанные в черном шелковом платочке с белыми каемочками.

– В трауре, – говорю.

– Ах, милый, в трауре, да в каком еще трауре-то!

– Ну, а саквояж ваш где же?

– Да вот о нем-то, о саквояже-то, я и горюю. Пропал ведь он, мой саквояж.

– Как, – говорю, – пропал?

– А так, друг мой, пропал, что и по се два дни, как вспомню, так, господи, думаю, неужели ж таки такая я грешница, что ты этак меня испытуешь? Видишь, как удивительно это все случилось: видела я сон; вижу, будто приходит ко мне какой-то священник и приносит каравай, вот как, знаешь, в наших местах из каши из пшенной пекут. «На, – говорит, – тебе, раба, каравай». – «Батюшка, – говорю, – на что же мне и к чему каравай?» Так вот видишь, к чему он, этот каравай-то, вышел – к пропаже.

– Как же это, – спрашиваю, – Домна Плато-

новна, было?

– Было это, друг мой, очень удивительно. Ты знаешь купчиху Кошеверову?

– Нет, – говорю, – не знаю.

– А не знаешь, и не надо. Мы с ней приятельницы, и то есть даже не совсем и приятельницы, потому что она женщина преехидная и довольно даже подлая, ну, а так себе, знаешь, вот вроде как с тобой, знакомы. Зашла я к ней так-то, на свое несчастье, вечером да и засиделась. Все она, чтоб ей пусто было совсем, право, посиди да посиди, Домна Платоновна. Все ведь с жиру-то чем убивалась? что муж ее не ревнует, а чего ревновать, когда с рожи она престрашная и язык у нее такой пребольшущий, как у попугая. Рассказывает, болели у нее зубы, да лекарь велел ей поставить пиявицу врачебную к зубу, а фершалов мальчик ей эту пиявицу к языку припустил, и пошел у нее с тех пор в языке опух. Опять же таки у меня в этот вечер и дело было: к Пяти углам надо было в один дом сбегать к купцу – жениться тоже хочет; но она, эта Кошевериха, не пускает.

«Погоди, – говорит, – киевской наливочки

выпьем, да Фадей Семенович, – говорит, – от всенощной придет, чайку напьемся: куда тебе спешить?»

«Как, – говорю, – мать, куда спешить?»

Ну, а сама все-таки, как на грех, осталась, да это то водочки, то наливочки, так налилась, что даже в голове у меня, чувствую, засточертело.

«Ну, – говорю ей, – извини, Варвара Петровна, очень тебе на твоём угощении благодарна, только уж больше пить не могу».

Она пристаёт, потчует, а я говорю:

«Лучше, мать моя, и не потчуй. Я свою порцию знаю и ни за что больше пить не стану».

«Сожителя, – говорит, – подожди».

«И сожителя, – говорю, – ждать не буду».

Стала на своем, что иду и иду, и только. Потому, знаешь, чувствую, что в голове-то уж у меня чертополох пошел. Выхожу это я, сударь ты мой, за ворота, поворачиваю на Разъезжую и думаю: возьму извозчика. Стоит тут сейчас на угле живейный[19], я и говорю:

«Что, молодец, возьмешь к Знаменью божьей матери?»

«Пятиалтынный».

«Ну, как, – отвечаю ему, – не пятиалтынный! пятачок».

А сама, знаешь, и иду по Разъезжей. Светло везде; фонари горят; газ в магазинах; и пешком, думаю, дойду, если не хочешь, варвар, пятачка взять, этакую близость проехать.

Только вдруг, сударь мой, порх этак передо мною какой-то господин. В пальте, в фуражке это, в калошах, ну одно слово – барин. И откуда это только он передо мною вырос, вот хоть убей ты меня, никак не понимаю.

«Скажите, – говорит, – сударыня (еще сударыней, подлец, назвал), скажите, – говорит, – сударыня, где тут Владимирская улица?»

«А вот, – говорю, – милостивый государь, как прямо-то пойдете, да сейчас будет переулочек направо...» – да только это-то выговорила, руку-то, знаешь, поднявши ему указываю, а он дерг меня за саквояж.

«Наше, – говорит, – вам сорок одно да кланяться холодно», – да и мах от меня.

«Ах, – говорю, – ты варвар! ах, мерзавец ты этакой!» Все это еще за одну надсмешку только считаю. Но с этим словом глядь, а саквоя-

жа-то моего нет.

«Батюшки! – заорала я что было у меня силы, во всю мою глотку. – Батюшки! – ору, – помогите! догоните его, варвара! догоните его, злодея!» И сама-то, знаешь, бегу-натываюсь и людей-то за руки ловлю, тащу: помогите, мол, защитите: саквояж мой сейчас унес какой-то варвар! Бегу, бегу, ажно ноженьки мои стали, а его, злодея, и след простыл. Ну, и то сказать, где ж мне, дыне этакой, его, пса подчегарого, догнать! Обернусь так-то на народ, крикну: «Варвары! что ж вы глазете! креста на вас нет, что ли?» Ну, бегла, бегла да и стала. Стала и реву. Так ревма и реву, как дура. Сижу на тунбе да и реву. Собрался около меня народ, толкует: «Пьяная, должно быть».

«Ах вы, варвары, – говорю, – этакие! Сами вы пьяные, а у меня саквояж сейчас из рук украдено».

Тут городской подошел. «Пойдем, – говорит, – тетка, в квартал».

Приводит меня городской в квартал, я опять закричала.

Смотрю, из двери идет квартальный поручик и говорит:

«Что ты здесь, женщина, этак шумишь?»

«Помилуйте, – говорю, – ваше высокоблагородие, меня так и так сейчас обкрадено».

«Написать, – говорит, – бумагу».

Написали.

«Теперь иди, – говорит, – с богом».

Я пошла.

Прихожу через день: «Что, – говорю, – мой саквояж, ваше благородие?»

«Иди, – говорит, – бумаги твои пошли, ожидай».

Ожидаю я, ожидаю; вдруг в часть меня требуют. Приведи в эту большую комнату, и множество там лежит этих саквояжей. Частный майор, вежливый этаким мужчиной и собою красив, узнайте, говорит, ваш саквояж.

Посмотрела я – все не мои саквояжи.

«Нет-с, – говорю, – ваше высокоблагородие, нет здесь моего саквояжа».

«Выдайте, – приказывает, – ей бумагу».

«А в чем, – спрашиваю, – ваше высокоблагородие, мне будет бумага?»

«В том, – говорит, – матушка, что вас обкрадено».

– «Что ж, – докладываю ему, – мне по этой

бумаге, ваше высокоблагородие?»

«А что ж, матушка, я вам еще могу сделать?»

Дали мне эту бумагу, что меня точно обкрадено, и идите, говорят, в благочинную управу. Прихожу я нонче в благочинную управу, подаю эту бумагу; сейчас выходит из дверей какой-то член, в полковницком одеянии, повел меня в комнату, где видимо-невидимо лежит этих саквояжев.

«Смотрите», – говорит.

«Вижу, мол, ваше высокоблагородие; ну только моего саквояжа нет».

«Ну, погодите, – говорит, – сейчас вам генерал на бумаге подпишет».

Сижу я и жду-жду, жду-жду; приезжает генерал: подали ему мою бумагу, он и подписал.

«Что ж это такое генерал подписали на моей бумаге?» – спрашиваю чиновника.

«А подписали, – отвечает, – что вас обкрадено». Держу эту бумагу при себе.

– Держите, – говорю, – Домна Платоновна.

– Неравно сыщется.

– Что ж, на грех мастера нет.

– Ох, именно уж нет на грех мастера! Что б это мне, кабы знатье-то, остаться у нее, у Кошеверихи-то, переночевать.

– Да хоть бы, – говорю, – уж на извозчика-то вы не пожалели.

– Об извозчике ты не говори; извозчик все равно такой же плут. Одна ведь у них у всех, у подлецов, стачка.

– Ну где, – говорю, – так уж у всех одна стачка! Разве их мало, что ли?

– Да вот ты поспорь! Я уж это мошенничество вот как знаю.

Домна Платоновна поднесла вверх крепко сжатый кулак и посмотрела на него с некоторой гордостью.

– Со мной извозчик-то, когда я еще глупа была, лучше гораздо сделал, – начала она, опуская руку. – С вывалом, подлец, вез, да и обобрал.

– Как это, – говорю, – с вывалом?

– А так, с вывалом, да и полно: ездила я зимой на Петербургскую сторону, барыне одной мантиль кружевную в кадетский корпус возила. Такая была барынька маленькая и из себя нежная, ну, а станет торговаться – раскри-

чится, настоящая примадона. Выхожу я от нее, от этой барыньки, а уж темнеет. Зимой рано, знаешь, темнеет. Спешу это, спешу, чтоб до прищепкта скорей, а из-за угла извозчик, и этакой будто вохловатый[20] мужичок. Я, говорит, дешево свезу.

«Пятиалтынный, мол, к Знаменью», – даю ему.

– Ну, как же это, – перебиваю, – разве можно давать так дешево, Домна Платоновна!

– Ну вот, а видишь, можно было. «Ближней дорогой, – говорит, – поедем». Все равно! Села я в сани – саквояжа тогда у меня еще не было: в платочке тоже все носила. Он меня, этот черт извозчик, и повез ближней дорогой, где-то по-за крепостью, да на Неву, да все по льду, да по льду, да вдруг как перед этим, перед берегом, насупротив самой Литейной, каа-ак меня чебурахнет в ухаб. Так меня, знаешь, будто снизу-то кто под самое под донышко-то чук! – я и вылетела... Вылетела я в одну сторону, а узелок и бог его знает куда отлетел. Подымаюсь я, вся чуня-чуней, потому вода по колдобинам стояла. «Варвар! – кричу на него, – что ты это, варвар, со мной сделал?»

А он отвечает: «Ведь это, – говорит, – здесь ближняя дорога, здесь без вывала невозможно». – «Как, – говорю, – тиран ты этакой, невозможно? Разве так, – говорю, – возят?» А он, подлец, опять свое говорит: «Здесь, купчиха, завсегда с вывалом; я потому, – говорит, – пятиалтынный и взял, чтобы этой ближней дорогой ехать». Ну, говори ты с ним, с извергом! Обтираюсь я только да оглядываюсь; где мой узелочек-то, оглядываюсь, потому как раскинуло нас совсем врозь друг от друга. Вдруг откуда ни возьмись этакой офицер, или вроде как штатский какой с усами: «Ах ты, бездельник этакой! – говорит, – мерзавец! везешь ты этакую даму полную и так неосторожно?» – а сам к нему к зубам так и подсыкается.

«Садитесь, – говорит, – сударыня, садитесь, я вас застегну».

«Узелок, – говорю, – милостивый государь, я обронила, как он, изверг, встряхнул-то меня».

«Вот, – говорит, – вам ваш узелок», – и по-дает.

«Ступай, подлец, – крикнул на извозчика, –

да смотрри! А вы, – говорит, – сударыня, ежели он опять вас вывалит, так вы его без всяких околичностей в морду».

«Где, – отвечаю, – нам, женчинам, с ними, с мереньями, справиться».

Поехали.

Только, знаешь, на Гагаринскую въехали – гляжу, мой извозчик чего-то пересмеивается.

«Чего, мол, умный молодец, еще зубы скалишь?»

«Да так, – говорит, – намеднясь я тут дешево жида вез, да как вспомню это, и не удержусь».

«Чего ж, – говорю, – смеяться?»

«Да как же, – говорит, – не смеяться, когда он мордою-то прямо в лужу, да как вскочит, да кричит юх, а сам все вертится».

«Чего же, – спрашиваю, – это он так юхал?»

«А уж так, – говорит, – видно, это у них по религии».

Ну, тут и я начала смеяться.

Как вздумаю этого жида, так и не могу воздержаться, как он бегае́т да кричит это юх, юх

.

«Пустая же самая, – говорю, – после этого их и религия».

Приехали мы к дому к нашему, встаю я и говорю: «Хоша бы стоило тебя, – говорю, – изверга, наказать и хоть пяточок с тебя вычесть, ну, только греха одного боясь: на тебе твоей пятиалтынный».

«Помилуйте, – говорит, – сударыня, я тут ничем не причинен: этой ближней дорогой никак без вывала невозможно; а вам, – говорит, – матушка, ничего: с того растете».

«Ах, бездельник ты, – говорю, – бездельник! Жаль, – говорю, – что давешний барин мало тебе в шею-то наклал».

А он отвечает: «Смотри, – говорит, – ваше степенство, не оброни того, что он тебе-то наклал», – да с этим *нно!* на лошаденку и поехал.

Пришла я домой, поставила самоварчик и к узелку: думаю, не подмок ли товар; а в узелке-то, как глянула, так и обмерла. Обмерла, я тебе говорю, совсем обмерла. Хочу взвесьть голос, и никак не взведу; хочу идти, и ножки мои гнутся.

– Да что ж там такое было, Домна Плато-

новна?

– Что – стыдно сказать что: гадости одни были.

– Какие гадости?

– Ну известно, какие бывают гадости: шароварки скинутые – вот что было.

– Да как же, – говорю, – это так вышло?

– А вот и рассуждай ты теперь, как вышло. Меня попервоначально это-то больше и испугало, что как он на Неве скинуть мог их да в узелок завязать. Вижу и себе не верю. Прибежала я в квартал, кричу: батюшки, не мой узел.

«Знаем, – говорят, – что *немой*; рассказывай толком».

Рассказала.

Повели меня в сыскную полицию. Там опять рассказала. Сыскной рассмеялся.

«Это, верно, – говорит, – он, подлец, из бани шел».

А враг его знает, откуда он шел, только как это он мне этот узелок подсунул?

– В темноте, – говорю, – не мудрено, Домна Платоновна.

– Нет, я к тому, что ты говоришь извоз-

чик-то: не оброни, говорит, что накладено! Вот тебе и накладено, и разумеешь, значит, к чему эти его слова-то были.

– Вам бы, – говорю, – надо тогда же, садясь в сани, на узелок посмотреть.

– Да как, мой друг, хочешь смотри, а уж как обмошенничать тебя, так все равно обмошенничают.

– Ну, это, – говорю, – уж вы того...

– Э, ге-ге-ге! Нет, уж ты сделай свое одолжение: в глазах тебя самого не тем, чем ты есть, сделают. Я тебе вот какой случай скажу, как в глаза-то нашего брата обдeldывают. Иду я – вскоре это еще как из своего места сюда приехала, – и надо мне было идти через Апраксин. Тогда там теснота была, не то что теперь, после пожара – теперь прелесть как хорошо, а тогда была ужасная гадость. Ну, иду я, иду себе. Вдруг откуда ни возьмись молодец этакой, из себя красивый: «Купи, – говорит, – тетенька, рубашку». Смотрю, держит в руках ситцевую рубашку, совсем новую, и ситец претличный такой – никак не меньше как гривен шесть за аршин надо дать.

«Что ж, – спрашиваю, – за нее хочешь?»

«Два с полтиной».

«А что, – говорю, – из половинки уступишь?»

«Из какой половины?»

«А из любой, – говорю, – из какой хочешь».

Потому что я знаю, что в торговле за всякую вещь всегда половину надо давать.

«Нет, – отвечает, – тетка, тебе, видно, не покупать хороших вещей», – и из рук рубашку, знаешь, дергает.

«Дай же», – говорю, потому вижу, рубашка отличная, целковых три кому не надо стоит.

«Бери, – говорю, – рупь».

«Пусти, – говорит, – мадам!» – дернул и, вижу, свертывает ее под полу и оглядывается. Известное дело, думаю, краденая; подумала так и иду, а он вдруг из-за линии выскакивает: «Давай, – говорит, – тетка, скорей деньги. Бог с тобой совсем: твое, видно, счастье владеть».

Я ему это в руки рупь-бумажку даю, а он мне самую эту рубаху скомканную отдает.

«Влады, – говорит, – тетенька», а сам верть назад и пошел.

Я положила в карман портмоне, да покуп-

ку-то эту свою разворачиваю, ан гляжу – хлоп у меня к ногам что-то упало. Гляжу – мочалка старая, вот что в небели бывает. Я тогда еще этих петербургских обстоятельств всех не знала, дивуюсь: что, мол, это такое? да на руки-то свои глядь, а у меня в руках лоскут! Того же самого ситца, что рубашка была, так лоскуток один с пол-аршина. А эти меренье приказчики грохочут: «К нам, – трещат, – тетенька, пожалуйста; у нас, – говорят, – есть и фасканифас и для глупых баб припас». А другой опять подходит: «У нас, – говорит, – тетенька, для вашей милости саван есть подержанный чудесный». Я уж это все мимо ушей пуцаю: шут, думаю, с вами совсем. Даже, я тебе говорю, сомлела я; страх на меня напал, что это за лоскут такой? Была рубашка, а стал лоскут. Нет, друг мой, они как захотят, так все сделают. Ты Егупова полковника знаешь?

– Нет, не знаю.

– Ну как, чай, не знать! Красивый такой, брюхастый: отличный мужчина. Девять лошадей под ним на войне убили, а он жив остался: в газетах писано было об этом.

– Я его все-таки, Домна Платоновна, не

знаю.

– Что нам с ним один варвар сделал? Это, я тебе говорю, роман, да еще и романов-то таких немного – на театре разве только можно представить.

– Матушка, – говорю, – вы уж не мучьте, рассказывайте!

– Да, эту историю уж точно что стоит рассказать. Как он только называется?.. есть тут землемер... Кумовеев ни то Макавеев, в седьмой роте в Измайловском он жил.

– Бог с ним.

– Бог с ним? Нет, не бог с ним, а разве черт с ним, так это ему больше кстати.

– Да это я только о фамилии-то.

– Да, о фамилии – ну, это пожалуй; фамилия ничего – фамилия простая, а что сам уж подлец, так самый первый в столице подлец. Пристал: «Жени меня, Домна Платоновна!»

«Изволь, – говорю, – женю; отчего, – говорю, – не женить? – женю».

Из себя он тварь этакая видная, в лице белый и усики этак твердо носит.

Ну, начинаю я его сватать; отягощаюсь, хожу, выискала ему невесту из купечества – дом

свой на Песках, и девушка порядочная, полная, румяная; в носике вот тут-то в самой в переносице хоть и был маленький изъянец, но ничего это – потому от золотухи это было. Хожу я, и его, подлеца, с собою вожу, и совсем уж у нас дело стало на мази. Тут уж я, разумеется, надзираю за ним как не надо лучше, потому что это надо делать безотходительно, да уж и был такой и слух, что он с одной девицей из купечества обручившись и деньги двести серебра на окипировку себе забрал, а им дал женитьбенную расписку, но расписка эта оказалась коварная, и ничего с ним по ней сделать не могли. Ну, уж зная такое про человека, разумеется, смотришь в оба – нет-нет да и завернешь с визитом. Только прихожу, сударь мой, раз один к нему – а он, надо тебе знать, две комнаты занимал: в одной так у него спальня его была, а в другой вроде зальца. Вхожу это и вижу, дверь из зальцы в спальню к нему затворена, а какой-то такой господин под окном, надо полагать вояжный [21]; потому ледунка[22] у него через плечо была, и сидит в кресле и трубку курит. Это-то вот он самый, полковник-то Егунов, и будет.

«Что, – я говорю, этак сама-то к нему оборачиваюсь, – или, – говорю, – хозяина дома нет?»

А он мне на это таково сурово махнул головой и ничего не ответил, так что я не узнала: дома землемер или его нету.

Ну, думаю, может, у него там дамка какая, потому что хоть он и жениться собирается, ну а все же. Села я себе и сажу. Но нехорошо же, знаешь, так в молчанку сидеть, чтоб подумали, что ты уж и слова сказать не умеешь.

«Погода, – говорю, – стоит нынче какая прелестная».

Он это сейчас же на мои слова вскинул на меня глазами, да, как словно из бочки, как рывкнет: «Что, – говорит, – такое?»

«Погода, – опять говорю, – стоит очень приятная».

«Врешь, – говорит, – пыль большая».

Пыль таки и точно была, ну, а все я, знаешь, тут же подумала, что ты, мол, это такой? Из каких таких взялся, что очень уж рычишь сердито?

«Вы, – говорю ему опять, – как Степану Матвеевичу – сродственник будете или прия-

тели только, знакомые?»

«Приятель», – отвечает.

«Отличный, – говорю, – человек Степан Матвеевич».

«Мошенник, – говорит, – первой руки».

Ну, думаю, верно Степана Матвеевича дома нет.

«Вы, – говорю, – давно их изволите знать?»

«Да знал, – говорит, – еще когда баба девкой была».

«Это, – отвечаю, – сударь, и с тех пор, как я их зазнала, может, не одна уж девка бабой ходит, ну только я не хочу греха на душу брать – ничего за ними худого не замечала».

А он ко мне этак гордо:

«Да у тебя на чердаке-то что, – говорит, – напхано? – сено!»

«Извините, – говорю, – милостивый государь, у меня, слава моему создателю, пока еще на плечах не чердак, а голова, и не сено в ней, а то же самое, что и у всякого человека, что богом туда предназначено».

«Толкуй!» – говорит.

«Мужик ты, – думаю себе, – мужиком тебе и быть».

А он в это время вдруг меня и спрашивает:
«Ты, – говорит, – его брата Максима Матвеева знаешь?»

«Не знаю, – говорю, – сударь: кого не знаю, про того и лгать не хочу, что знаю».

«Этот, – говорит, – плут, а тот и еще почище. Глухой».

«Как, – говорю, – глухой?»

«А совсем-таки, – говорит, – глухой: одно ухо глухо, а в другом золотуха, и обоими не слышит».

«Скажите, – говорю, – как удивительно!»

«Ничего, – говорит, – тут нет удивительного».

«Нет, я, мол, только к тому, что один брат такой красавец, а другой – глух».

«Ну да; то-то совсем ничего в этом и нет удивительного; вон у меня у сестры на роже красное пятно, как лягушка точно сидит: что ж мне-то тут такого!»

«Родительница, – говорю, – верно, в своем интересе чем испугалась?»

«Самовар, – говорит, – ей девка на пузо вывернула».

Ну, я тут-то вежливо пожалела.

«Долго ли, – говорю, – с этими, с быстроглазыми, до греха», – а он опять и начинает:

«Ты, – говорит, – если только не совсем ты дура, так разбери: он, этот глухой брат-то его, на лошадей охотник меняться».

«Так-с», – говорю.

«Ну, а я его вздумал от этого отучить, взял да ему слепого коня и променял, что лбом в забор лезет».

«Так-с», – говорю.

«А теперь мне у него для завода бычок понадобился, я у него этого бычка и купил и деньги отдал; а он, выходит, совсем не бык, а вол».

«Ах, – говорю, – боже мой, какая оказия! Ведь это, – говорю, – не годится».

«Уж разумеется, – говорит, – когда вол, так не годится. А вот я ему, глухому, за это вот какую шутку отшучу: у меня на этого его брата, Степана Матвеича, расписка во сто рублей есть, а у них денег нет; ну, так я им себя теперь и покажу».

«Это, – говорю, – точно, что можете показать».

«Так ты, – говорит, – так и знай, что этот

Максим Матвейч – каналья, и я вот его только дождусь и сейчас его в яму».

«Я, мол, их точно в тонкость не знаю, а что сватаючи их, сама я их порочить не должна».

«Сватаешь!» – вскрикнул.

«Сватаю-с».

«Ах ты, – говорит, – дура ты, дура! Нешто ты не знаешь, что он женатый?»

«Не может, – говорю, – быть!»

«Вот тебе и не может, когда трое детей есть».

«Ах, скажите, – говорю, – пожалуйста!» «Ну, Степан, – думаю, – Матвейч, отличную ж вы было со мной штуку подшутили!» – и говорю, что, стало быть же, говорю, как я его теперь замечаю, он, однако, фортель!

А он, этот полковник Егупов, говорит: «Ты если хочешь кого сватать, так самое лучшее дело – меня сосватай».

«Извольте, мол».

«Нет, я, – говорит, – это тебе без всяких шуток, вправду говорю».

«Да извольте, – отвечаю, – извольте!»

«Ты мне, кажется, не веришь?»

«Нет-с, отчего же: это, мол, действительно,

если человек имеет расположение от рассеянной жизни увольниться, то самое первое дело ему жениться на хорошей девушке».

«Или, – говорит, – хоть на вдове, но чтоб только с деньгами».

«Да, мол, или на вдове».

Пошли у нас тут с ним разговоры; дал он мне свой адрес, и стала я к нему ходить. Что только тоже я с ним, с аспидом, помучилась! Из себя страшный-большой и этакой фантастический – никогда он не бывает в одном положении, а всякого принимает по фантазии. Есть, разумеется, у людей разное расположение, ну только такого мужчину, как этот Егупов, не дай господи никакой жене на свете. Станет, бывало, бельма выпучит, а сам, как клоп, кровью нальется – орет: «Я тебя кверху дном поставлю и выворочу. Сейчас наизнанку будешь!» Глядя на это, как он беснуется, думаешь: «Ах, обиду какую кровную ему кто нанес!» – а он сердит оттого, что не тем боком корова почесалась. Ну, однако, сосватала я и его на одной вдове на купеческой. Такая-то, тоже ему под пару, точно на заказ была спечена, туша присноблаженная. Ну-с, сударь ты

мой, отбылись смотрины, и стговор назначили.

Приезжаем мы с ним на этот стговор, много гостей – родственники с невестиной стороны и знакомые, все хорошего поколения, значительного, и смотрю, промеж гостей, в одном угле на стуле сидит этот землемер Степан Матвеич.

Очень это мне не показалось, что он тут, но ничего я не сказала.

Верно, думаю, должно быть, его из ямы выпустили, он и пришел по знакомству.

Ну, впрочем, идет все как следует. Прошла помолвка, прошло образование, и все ничего. Правда, дядя невестин, Колобов Семен Иванович, купец, пьяный пришел и начал было врать, что это, говорит, совсем не полковник, а Федоровой банщицы сын. «Лизни, – говорит, – его кто-нибудь языком в ухо, у него такая привычка, что он сейчас за это драться станет. Я, – болтает, – его знаю; это он одел эполеты, чтоб пофорсить, но я с него эти эполеты сейчас сорву», ну, только этого же не допустили, и Семена Ивановича самого за это сейчас отвели в пустую половину, в холодную.

Но вдруг, во время самого благословения, отец невестин поднимает образ, а по зале как что-то загудет! Тот опять поднимает икону, а по зале опять гу-у-у-у! – и вдруг явственно выговаривает:

«Нечего, – говорит, – петь Исаю, когда Мануил в чреве».

Господи! даже отороп на всех напал. Невесте конфуз; Егупов, гляжу, тоже бельмами-то своими на меня.

Ну что, думаю, ты-то! ты-то что, батюшка, на меня остребенился, как черт на попа?

А в зале опять как застонет:

«К небесам в поле пыль летит, к женатому жениху – жена катит, богу молится, слезьми обливается».

Бросились туда-сюда – никого нет.

Боже мой, что тут поднялось! Невестин отец образ поставил да ко мне, чтоб бить; а я, видючи, что дело до меня доходит, хвост по-выше подобрамши, да от него драла. Егупов божится, что он сроду женат не был: говорит, хоть справки наведите, а глас все свое, так для всех даже внимательно: «Не вдавайте, – говорит, – рабы, отроковицу на брак сквер-

ный». Все дело в расстрой! – Что ж, ты думаешь, все это было?.. Приходит ко мне после этого через неделю Егупов сам и говорит: «А знаешь, – говорит, – Домна, ведь это все подлец землемер пупком говорил!»

– Ну, как так, – спрашиваю, – Домна Платоновна, пупком?

– А пупком, или чревом там, что ли, бес его лукавый знает, чем он это каверзил. То есть я тебе говорю, что все это они нонче один перед другим ухитряются, один перед другим выдумывают, и вот ты увидишь, что они чисто все государство запутают и изнищут.

Я даже смутился при выражении Домною Платоновною совершенно неожиданных мною опасений за судьбы российского государства. Домна Платоновна, всеконечно, заметила это и пожелала полюбоваться производимым ею политическим эффектом.

– Да, право, ей-богу! – продолжала она ноткою выше. – Ты только сам, помилуй, скажи, что хитростей всяких настало? Тот летит по воздуху, что птице одной назначено; тот рыбу плавлет и на дно морское опускается; тот теперь – как на Адмиралтейской площади –

огонь серный ест; этот животом говорит; другой – еще что другое, что человеку непоказанное – делает... Господи! бес, лукавый сам, и тот уж им повинуется, и все опять же таки не к пользе, а ко вреду. Со мной ведь один раз было же, что была я отдана бесам на поругание!

– Матушка, – говорю, – неужто и это было?

– Было.

– Так не томите, рассказывайте.

– Давно это, лет, может быть, двенадцать тому будет, молода я еще в те поры была и неопытна, и задумала я, овдовевши, торговать. Ну, чем, думаю, торговать? Лучше нечем, по женскому делу, как холстом, потому – женщина больше в этом понимает, что к чему принадлежит. Накуплю, думаю, на ярманке холста и сяду у ворот на скамеечке и буду продавать. Поехала я на ярманку, накупила холста, и надо мне домой ворочаться. Как, думаю, теперь мне с холстом домой ворочаться? А на двор на постоялый, хлоп, въезжает троешник.

«Везли мы, – сказывает, – из Киева, в ко- ренную, на семи тройках орех, да только орех

мы этот подмочили, и теперь, – говорит, – сделало с нас купечество вычет, и едем мы к дворам совсем без заработка».

«Где ж, – спрашиваю, – твои товарищи?»

«А товарищи, – отвечает, – кто куда в свои места поехали, а я думаю, не найду ли хоть седочков каких».

«Откуда же, – пытаюсь, – из каких местов ты сам?»

«А я куракинский, – говорит, – из села из Куракина».

Как раз это мне к своему месту, «Вот, – говорю, – я тебе одна седачка готовая».

Поговорили мы с ним и на рубле серебра порешили, что пойдет он по дворам, чтоб еще седоков собрать, а завтра чтоб в ранний обед и ехать.

Смотрю, завтра это вдруг валит к нам на двор один человек, другой, пятый, восьмой, и все мужчины из торговцев, и красики такие полные. Вижу, у одного мешок, у другого – сумка, у третьего – чемодан, да еще ружье у одного.

«Куда ж, – говорю извозчику, – ты это нас всех запихаешь?»

«Ничего, – говорит, – улезете – повозка большая, сто пудов возим». Я, признаться, было хоть и остаться рада, да рупь-то ему отдан, и ехать опять не с кем.

С горем с таким и с неудовольствием, ну, однако, поехала. Только что за заставу мы выехали, сейчас один из этих седоков говорит: «Стой у кабака!» Пили они тут много и извозчика поят. Поехали. Опять с версту отъехали, гляжу – другой кричит: «Стой, – говорит, – здесь Иван Иваныч Елкин живет, никак, – говорит, – его минать не должно».

Раз они с десять этак останавливались все у своего Ивана Иваныча Елкина.

Вижу я, что дело этак уж к ночи и что извозчик наш распьяным-пьяно-пьян сделался.

«Ты, – говорю, – не смей больше пить».

«Отчего это так, – отвечает, – не смей? Я и так, – говорит, – не смелый, я все это не смеючи действую».

«Мужик, – говорю, – ты, и больше ничего».

«Ну-к что ж, что мужик! а мне, – говорит, – абы водка».

«Тварь-то, глупец, – учу его, – пожалел бы свою!»

«А вот я, – говорит, – ее жалею», – да с этим словом мах своим кнутовищем и пошел задуть. Телега-то так и подскакивает. Того только и смотрю, что сейчас опрокинемся, и жизни нашей конец. А те пьяные все заливаются. Один гармонию вынул, другой песню орет, третий из ружья стреляет. Я только молюсь: «Пятница Просковья, спаси и помилуй!»

Неслись мы, неслись во весь кульер, и стали кони наши наконец приставать, и поехали мы опять шагом. На дворе уж этак смеркло, и не то чтобы, как сказать, дождь шел, а все будто туман брызгает. Руки у меня просто страсть как набрякли держамшись, и уж я рада-радешенька, что наконец мы едем тихо; сижу уж и голосу не подаю. А у тех тем часом, слышу, разговор пошел: один рассказывает, что разбойники тут по дороге шляются, а другой отвечает ему, что он разбойников не боится, потому что у него ружье два раза стрелять может. Опять еще какой-то о мертвецах заговорил: я, рассказывает, мертвую кость имею, кого, говорит, эту костью обведу, тот сейчас мертвым сном заснет и не подыметя; а другой хвастается, что у него есть свеча из мерт-

вого сала. Я это все слушала, и вдруг все словно кто меня стал за нос водить, и ударил на меня сон, и в одну минуту я заснула.

Только крепко я заснуть никак не могла, потому что все нас, словно орехи в решете, протряхивало, и во сне мне слышится, как будто кто-то говорит: «Как бы, – говорит, – нам эту чертову бабу от себя вон выкинуть, а то ног некуда протянуть». Но я все сплю.

Вдруг, сударь ты мой, слышу крик, визг, гам. Что такое? Гляжу – ночь, повозка наша стоит, и около нее все вертятся, да кричат, а что кричат – не разобрать.

«Шурле-мурле, шире-мире-кравермир», – орет один.

Наш это, что с ружьем-то ехал, бац из одного ружья – пистолет лопнул, а стрельбы нет, бац из другого – пистолет опять лопнул, а стрельбы нет.

Вдруг этот, что кричал-то, опять как заорет: шире-мире-кравермир! да с этим словом хап меня под руки-то из телеги да на поле, да ну вертеть, ну крутить. Боже мой, думаю, что ж это такое! Гляну, гляну вокруг себя – все рожжи такие темные, да все вертятся и меня кру-

тят да кричат: шире-мире! да за ноги меня, да ну раскачивать.

«Батюшка! – взмолилась я, такое над собой в первый раз видючи, – Никола божий амченский! триех дев непорочный невестителю! чистоты усердной хранителю! не допусти же ты им хоть наготу-то мою недостойную видеть!»

Только что я это в сердце своем проговорила, и вдруг чувствую, что тишина вокруг меня стала необъятная, и лежу будто я в поле, в зелени такой изумрудной, и передо мною, перед ногами моими плывет небольшое этакое озерцо, но пречистое, препрозрачное, и вокруг него, словно бахрома густая, стоит молодой тростник и таково тихо шатается.

Забыла я тут и про молитву, и все смотрю на этот тростник, словно сроду я его не видела.

Вдруг вижу я что же? Вижу, что с этого с озера поднимается туман, такой сизый, легкий туман, и, точно настоящая пелена, так по полю и расстилается. А тут под туманом на самой на середине озера вдруг кружочек этакой, как будто рыбка плеснулась, и выходит

из этого кружочка человек, так маленький, росту не больше как с петуха будет; личико крошечное; в синеньком кафтанчике, а на головке зеленый картузик держит.

«Удивительный, – думаю, – какой человек, будто как куколка хорошая», – и все на него смотрю, и глаз с него не спускаю, и совсем его даже не боюсь, вот таки ни капли не боюсь.

Только он, смотрю, начинает всходить-всходить, и все ко мне ближе, ближе и, на конец того дела, прыг прямо ко мне на грудь. Не на самую, знаешь, на грудь, а над грудью стоит на воздухе и кланяется. Таково преважно поднял свой картузик и здравствуется.

Смех меня на него разбирает ужасный: «Где ты, – думаю, – такой смешной взялся?»

А он в это время хлоп свой картузик опять и говорит... да ведь что же говорит-то!

«Давай, – говорит, – Домочка, сотворим с тобой любовь!»

Так меня смех и разорвал.

«Ах ты, – говорю, – шиш ты этакой! Ну, какую ты можешь иметь любовь?»

А он вдруг задом ко мне верть и запел мо-

лодым кочетком: кука-реку-ку-ку!

Вдруг тут зазвенело, вдруг застучало, вдруг заиграло: стон, я тебе говорю, стоит. Боже мой, думаю, что ж это такое? Лягушки, карпии, лещи, раки, кто на скрышку, кто на гитаре, кто в барабаны бьют; тот пляшет, тот скачет, того вверх вскидывает!

«Ах, – думаю, – плохо это! Ах, совсем это нехорошо! Огражду я себя, – думаю, – молитвой», да хотела так-то зачитать: «Да воскреснет бог», – а на место того говорю: «Взвейся, выше понесися», – и в это время слышу в животе у меня бум-бурум-бум, бум-бурум-бум.

«Что это, мол, я такое: тарбан, что ль?» – и гляжу, точно я тарбан. Стоит надо мной давешний человечек маленький и так-то на мне нарезывает.

«Ох, – думаю, – батюшки! ох, святые угодники!» – а он все по мне смычком-то пилит-пилит, и такое на мне выигрывает, и вальсы, и кадрили всякие, а другие еще поджигают: «Тарабань жесче, жесче тарабань!» – кричат.

Боль, тебе говорю, в животе непереносная, а все гуду. И так целую ночь целехонькую на

мне тарабанили; целую ночь до бела до света была я им, крещеный человек, заместо тарбана[23]; на утешение им, бесам, служила.

– Это, – говорю, – ужасно.

– И очень даже, мой друг, ужасно. Но тем это еще было ужаснее, что утром, как оттарабанили они на мне всю эту свою музыку, я оглядываюсь и вижу, что место мне совсем незнакомое: поле, лужица этакая точно есть большая, вроде озерца, и тростник, и все, как я видела, а с неба солнце печет жарко, и прямо мне во всю наружность. Гляжу, тут же и мой сверточек с холстами и сумочка – все в целости; а так невдалеке деревушка. Я встала, доплелась до деревушки, наняла мужика, да к вечеру домой и доехала.

– И что же вы, Домна Платоновна, уверены, что все это с вами действительно произошло?

– А то врать я, что ли, на себя стану?

– Нет, я говорю про то, что именно так ли все это было-то?

– Так и было, как я тебе сказываю. А ты вот подивись, как я им наготы-то своей не открыла.

Я подивился.

– Да; вот и с бесом да совладала, а с лукавым человеком так вышло раз иначе.

– Как же вышло?

– Слушай. Купила я для одной купчихи мебель, на Гороховой у выезджих. Были комоды, столы, кровати и детская короватка с таким с тесьменным дном. Заплатила я тринадцать рублей деньги, выставила все в коридор и пошла за извозчиком. Взяла за рупь за сорок к Николе Морскому извозчика ломового и укладываем с ним мебель, а хозяева, у которых купила-то я, на ту пору вышли и квартиру замкнули. Вдруг откуда ни возьмись дворники, татары, «халам-балам»: как ты смеешь, орут, вещи брать? Я туда, я сюда – не спускают. А тут дождь, а тут извозчик стоять не хочет. Боже мой! Насилу я надумалась: ну, ведите, говорю, меня в квартал – я, говорю, квартального жена. И только это сказала, входят на двор эти господа, у которых мебель купила. «Продана, – говорят, – точно, ей эта мебель продана». Ну, извозчик мой говорит: садись. Думаю, и точно, замест того, чтоб на живеяного тратить, сяду я в короватку детскую. Вы-

соко они эту короватку, на самом на верху во-за над комодой утвердили, но я вскарабкалась и села. Только что ж бы ты думал? Не успела я со двора выехать, как слышу, низок-то подо мною тресь-тресь-тресь.

«Ах, – думаю, – батюшки, ведь это я проваливаюсь!» И с этим словом хотела встать на ноги, да трах – и просунулась. Так верхом, как жандар, на одной тесемке и сижу. Срам, я тебе говорю, просто насмерть! Одежда вся взбилась, а ноги голые над комодой мотаются; народ дивуется; дворники кричат: «Закройся, квартальничиха», – а закрыться нечем. Вот он варвар какой!

– Это кто же, – говорю, – варвар?

– Да извозчик-то: где же, скажи ты, пожалуйста, зеваает на лошадь, а на пассажира и не посмотрит. Мало ведь чуть не всю Гороховую я так проехала, да уж городской, спасибо ему, остановил. «Что это, – говорит, – за мерзость такая? Это не позволено, что ты показываешь?» Вот как я посветила наготой-то.

— Домна Платоновна! – говорю, – а что –
давно я желал вас спросить – молодой
такой вы остались после супруга, неужто у
вас никакого своего сердечного дела не было?

– Какого это сердечного?

– Ну, не полюбили вы кого-нибудь?

– Полно глупости болтать!

– Отчего ж, – говорю, – это глупости?

– Да оттого, – отвечает, – глупости, что хо-
рошо этими любвьями заниматься, у кого есть
приспешники да доспешники, а как я одна, и
постоянно я отягощаюсь, и постоянно веду
жизнь прекратительную, так мне это совсем
даже и не на уме и некстати.

– Даже и не на уме?

– И ни вот столичко! – Домна Платоновна
черкнула ногтем по ногтю и добавила: – а к
тому же я тебе скажу, что вся эта любовь –
вздор. Так напустит человек на себя шаль та-
кую: «Ах, мол, умираю! жить без него или без
нее не могу!» – вот и все. По-моему, то любовь,
если человек женщине как следует помога-
ет – вот это любовь, а что женщина, она все-

гда должна себя помнить и содержать на примечании.

– Так, – говорю, – стало быть, ничем вы, Домна Платоновна, богу и не грешны?

– А тебе какое дело до моих грехов? Хоша бы чем я и грешна была, то мой грех, не твой, а ты не поп мой, чтоб меня исповедовать.

– Нет, я говорю это, Домна Платоновна, только к тому, что молоды вы овдовели и видно, что очень вы были хороши.

– Хороша не хороша, – отвечает, – а в дурных не ставили.

– То-то, – я говорю, – это и теперь видно.

Домна Платоновна поправила бровь и глубоко задумалась.

– Я и сама, – начала она потихоньку, – много так раз рассуждала: скажи мне, господи, лежит на мне один грех или нет? И ни от кого добиться не могу. Научила меня раз одна монашка с моих слов списать всю эту историю и подать ее на духу священнику, – я и послушалась, и монашка списала, да я, шедши к церкви, все и обронила.

– Что ж это такое, Домна Платоновна, за грех был?

– Не разберу: не то грех, не то мечтание.

– Ну, хоть про мечтание скажите.

– Издаля это начинать очень приходится.

Это еще как мы с мужем жили.

– Ну как же, голубушка, вы жили?

– А жили ничего. Домик у нас был хоша и небольшой, но по предместности был очень выгодный, потому что на самый базар выходил, а базары у нас для хозяйственного употребления частые, только что нечего на них выбрать, вот в чем главная цель. Жили мы не в больших достатках, ну и не в бедности; торговали и рыбой, и салом, и печенкой, и всяким товаром. Муж мой, Федор Ильич, был человек молодой, но этакой мудреный, из себя был сухой, но губы имел необыкновенные. Я таких губ ни у кого даже после и не видывала. Нраву он, не тем будь помянут, был пронзительного – спорильщик и упротивный; а я тоже в девках воительница была. Вышедши замуж, вела я себя сначала очень даже прилично, но это его нисколько совсем не восхищало, и всякий день натошак мы с ним буйственно сражались. Любви у нас с ним большой не было, и согласия столько же, потому

оба мы собрались с ним воители, да и нельзя было с ним не воевать, потому, бывало, как ты его ни голубь, а он все на тебя тетерится, однако жили не разводились и восемь лет прожили. Конечно, жили не без неприятностей, но до драки настоящей у нас не часто доходило. Раз один, точно, дал он мне, покойник, подзатыльника, но только, разумеется, и моей тут немножко было причины, потому что стала я ему волосы подравнивать, да ножницами – кусочек уха ему и отстригнула. Детей у нас не было, но были у нас на Нижнем городе кум и кума Прасковья Ивановна, у которых я детей крестила. Были они люди небогатые тоже, портной он назывался и диплом от общества имел, но шить ничего не шил, а по покойникам пасалтырь читал и пел в соборе на крылосе. По добычливости же, если что добыть по домашнему, все больше кума отягощалась, потому что она полезной бабой была, детей правила и навью кость сводила.[24]

Вот один раз, это уж на последнем году мужниной жизни (все уж тут валилось, как перед пропастью), сделайся эта кума Прасковья Ивановна именинница. Сделайся она

именинница, и пошли мы к ней на именины, и застал нас там у нее дождь, и такой дождь, что как из ведра окатывает; а у меня на ту пору еще голова разболелась, потому выпила я у нее три пунша с кисляркой, а эта кислярская для головы нет ее подлее. Взяла я и прилегла в другой комнатке на диванчике.

«Ты, – говорю, – кума, с гостями еще посиди, а я тут крошечку полежу».

А она: «Ах, как можно на этом диване: тут твердо; на постель ложись».

Я и легла и сейчас заснула. Нет тут моей вины?

– Никакой, – говорю.

– Ну, теперь же слушай. Сплю я и чую, что как будто кто-то меня обнимает, и таки, знаешь, не на шутку обнимает. Думаю, это муж Федор Ильич; но как будто и не Федор Ильич, потому что он был сложения духовного и из себя этакой секретный, – а проснуться не могу. Только проспавши свое время, встаю, гляжу – утро, и лежу я на куминой постели, а возле меня кум. Я мах этак, знаешь, перепрыгнула скорей через него с кровати-то, трясусь вся от страху и гляжу – на полу на перинке лежит

кума, а с ней мой Федор Ильич... Толк я тут-то куму, гляжу – и та схватилась и крестится.

«Что же это, – говорю, – кума, такое? как это сделалось?»

«Ах, – говорит, – кумонька! Ах я, мерзкая этакая! Это все я сама, – говорит, – настроила, потому они еще, проводя гостей, допивать се-ли, а я тут впотьмах-то тебя не стала будить, да и прилегла тут, где вам было постлано».

Я даже плюнула.

«Что ж теперь, – говорю, – нам с тобой де-лать?»

А она мне отвечает: «Нам с тобой нечего больше делать, как надо про это молчать».

Это я, вот сколько тому лет прошло, перво-му тебе про это и рассказала, потому что тяжело мне это ужасно, и всякий раз, как я это вздумаю, так я этот сон свой проклясть со-всем готова.

– Вы, – говорю, – Домна Платоновна, не со-крушайтесь, потому что ведь это вышло ми-мо воли вашей.

– А еще бы, – говорит, – как? Я и так-то себя немало измучила и истерзала. Горе-таки го-рем, как Федор Ильич вскорости тут помер,

потому не своею он помер смертью, а дрова, сажени на берегу завалились, задавили его. О петербургских обстоятельствах, чтоб как чем себя развеселить, я и понятия тогда не имела; но как вспомню, бывало, все это после его смерти-то, сяду вечерком одна-одинешенька под окошечко, пою: «Возьмите вы все золото, все почести назад», – да сама льюсь, льюсь рекою, как глаза не выйдут. Так тяжело, так станет жутко, вспомнивши эти слова, что «друг нежный спит в сырой земле», что хоть надень на себя осил пенечный[25] да и полезай в петлю. Продала все, всего решила и уехала; думаю, пусть лучше хоть глаза мои на все это не глядят и уши мои не слышат.

– Это, – говорю, – Домна Платоновна, я вам верю; нет ничего несноснее, как если одолеет тоска.

– Спасибо тебе, милый, на добром слове, именно правду говоришь, что нет ничего несноснее, и утешь и обрадуй тебя за это слово царица небесная, что ты все это мог понять и почувствовать. Но не можешь ты понять всей обо мне тоски и жалости, если не открою я тебе всю мою настоящую обиду, как меня

один раз обидели. Что это саквояж там пропал или что Леканидка там неблагодарная – все это вздор. А был у меня на свете один такой день, что молила я господу, что пошли ты хоть змея, хоть скорпия, чтоб очи мои сейчас выпил и сердце мое высосал. И кто ж меня обидел? Испулатка, нехристь, турка! А кто ему помогал? Свои приятели, миром святым мазаные.

Домна Платоновна горько-прегорько заплакала.

– Курьерша одна моя знакомая, – начала она, утираючи слезы, – жила в Лопатине доме, на Невском, и пристал к ней этот пленный турка Испулатка. Она за него меня и просит: «Домна Платоновна! определи, – говорит, – хоть ты его, черта, к какому-нибудь месту!» – «Куда ж, – думаю, – турку определить? Кроме как куда-нибудь арапом, никуда его не определишь» – и нашла я ему арапскую должность. Нашла, и прихожу, и говорю: «Так и так, – говорю, – иди и определяйся».

Тут они и затеяли магарычи пить, потому что он уже своей поганой веры избавился, крестился и мог вино пить.

«Не хочу я, – говорю, – ничего», – ну, только, однако, выпила. Этакой уж у меня характер глупый, что всегда я попервоначально скажу «нет», а потом выпью. Так и тут: выпила и осатанела, и у нее, у этой курьерши, легла с нею на постели.

– Ну-с?

– Ну, вот тебе и все, а нынче зашиваюсь.

– Как зашиваетесь?

– А так, что если где уж придется неминуючи ночевать, то я совсем с ногами, вроде как в мешок, и зашиваюсь. И даже так тебе скажу, что и совсем на сон свой подлый не надеюсь, я даже и постоянно нынче на ночь зашиваюсь.

Домна Платоновна тяжело вздохнула и опустила свою скорбную голову.

– Вот тебе уж, кажется, и знаю петербургские обстоятельства, а однако что над собой допустила! – произнесла она после долгого раздумья, простилась и пошла к себе на Знаменскую.

Через несколько лет привелось мне свезти в одну из временных тифозных больниц одного бедняка. Сложив его на койку, я искал, кому бы его препоручить хоть на малейшую ласку и внимание.

– СтаршОй, – говорят.

– Ну, попросите, – прошу, – старшУю.

Входит женщина с отцветшим лицом и отвисшими мешками щек у челюстей.

– Чем, – говорит, – батюшка, служить прикажете?

– Матушка, – восклицаю, – Домна Платоновна?

– Я, сударь, я.

– Как вы здесь?

– Бог так велел.

– Поберегите, – прошу, – моего больного.

– Как своего родного поберегу.

– Что ж ваша торговля?

– А вот моя торговля: землю продать, да небо купить. Решилась я, друг мой, своей торговли. Зайди, – шепчет, – ко мне.

Я зашел. Каморочка сырая, ни мебели, ни

пшторки, только койка да столик с самоваром и сундучок крашенный.

– Будем, – говорит, – чай пить.

– Нет, – отвечаю, – покорно вас благодарю, некогда.

– Ну так заходи когда другим разом. Я тебе рада, потому я разбита, друг мой, в последняя разбита.

– Что же с вами такое случилось?

– Уста мои этого рассказать не могут, и сердцу моему очень больно, и, сделай милость, ты меня не спрашивай.

– И отчего, – говорю, – вы это так вдруг осунулись?

– Осунулась! что ты, господь с тобой! ни капли я не осунулась.

Домна Платоновна торопливо выхватила из кармана крошечное складное зеркальце, поглядела на свои блеклые щеки и заговорила:

– Ни крошечки я не осунулась, и то это теперь к вечеру, а с утра я еще гораздо свежее бываю.

Смотрю я на Домну Платоновну и понять не могу, что в ней такое? а только вижу, что

что-то такое странное.

Показалось мне, что, кроме того, что все ее лицо поблекло и обвисло, будто оно еще слегка подштукатурено и подкрашено, а тут еще эта тревога при моем замечании, что она осунулась... Непонятная, думаю, притча!

Не прошло после этого месяца, как вдруг является ко мне какой-то солдат из больницы и неотступно требует меня сейчас к Домне Платоновне.

Взял извозчика и приезжаю. На самых воротах встречает меня сама Домна Платоновна и прямо кидается мне на грудь с плачем и рыданием.

– Съезди, – говорит, – ты, миленький, сделай милость, в часть.

– Зачем, Домна Платоновна?

– Узнай ты там насчет одного человека, похлопочи за него. Я, бог даст, со временем сама тебе услужу.

– Да вы, – говорю, – не плачьте только и не дрожите.

– Не могу, – отвечает, – не дрожать, потому что это внутреннее, изнутри колотит. А этой услуги я тебе в жизнь не забуду, потому что

все меня теперь оставили.

– Хорошо – но за кого же просить-то и о чем просить?

Старуха замялась, и блеклые щеки ее задергались.

– Фортопьянщицкий ученик там арестован вчера, Валерочка, Валерьян Иванов, так за него узнай и попроси.

Поехал я в часть. Сказали мне там, что действительно есть арестованный молодой человек Валерьян Иванов, что был он учеником у фортепьянного мастера, обокрал своего хозяина, взят с поличным и, по всем вероятностям, пойдет по тяжелой дороге Владимирской.

– Сколько же ему лет? – расспрашиваю.

– Лет, – говорят, – как раз двадцать один год минул.

«Что, – думаю, – за чудеса такие и что такое он, этот Валерка, моей Домне Платоновне?»

Приезжаю в больницу и застаю Домну Платоновну в ее камерке: сидит, сложивши руки, на краю кровати, и совсем помертвелая.

– Знаю, – говорит, – все, сделай милость,

больше не сказывай. Я фершала посылала узнать и все знаю. Огненным прощением пресекается перед смертью душа моя.

Вижу, моя воительница совсем сбрендила: распалась и угасла в час один.

– Боже мой! – говорит, глядя на бедный больничный образочек. – Боженька! миленький! да поди же к тебе моя молитва прямо столбушкой: вынь ты из меня душу, из старой дуры, да укроти мое сердце негодное.

– Да что ж, – говорю, – вам такое?

– Мне?.. Люблю я его, душечка; люблю я его несносно, мой ангел; без ума, без разума люблю я его, старая дура. Я его обула, я его одела, я на него дула, пыль с него обдувала. Театрашник такой; все, бывало, кортит ему дома; все он клонится как бы в цирк, как бы в театр; я ему последнее отдавала. Станешь, бывало, только просить: «Валерочка, друг мой! сокровище благих! не клонись ты к этому цирку; что тебе этот цирк?» Так затопчет, закричит и руками намеряется. Вот тебе и цирк!.. Не позволял он, чтобы я говорила с ним, так я издаля, бывало, только на него смотрю до прощу: «Валерочка! жизнечек! сокровище

благих! не якшайся ты с кем попадая; не пей ты много». Все он мое презрел... Когда б дворника не нанимала, чтоб слух об нем подавал, и этого горя б, может, не знала. Боженька! миленький! Господи, да что ж это? да что ж это будет! – вскрикнула она и с этим словом упала перед образом на колена и еще горче заплакала, кивая своею седою головою.

– Все, – заговорила она, подымаясь через несколько минут на ноги и тоскливо водя угасшими глазами по своей унылой каморке, – все ему отдала, ничего у меня больше нет. Нечего мне ему дать больше, голубчику... Хоть бы сходить к нему...

– Ну, – говорю, – сходите...

– Не велит он мне ему показываться, не смею я к нему идти, – а сама дрожмя дрожит, бедная старуха.

Помолчал я и, чтоб отрезвить ее хоть немножко, спрашиваю:

– Сколько вам, Домна Платоновна, нынче годочков?

– Что ты такое, – говорит, – сказал?

– Сколько, мол, вам лет?

– А не знаю, право, сколько... в прошлом

году в фебрие, кажется, сорок семь было.

– И откуда ж это, – спрашиваю, – он у вас взялся, этот Валерка? Где вы его себе откопали, на свое горе?

– Из наших местов, – отвечает, утирая слезы. – Кумин племянник он. Кума его ко мне прислала, чтоб к месту определить. Скажи, пожалуйста, – пицит опять, плачучи, воительница, – жаль ли хоть тебе меня, дуру неповитую?

– Очень, – отвечаю, – жаль.

– А людям ведь небось и не жаль, смех им небось только. И всякий, если кто когда-нибудь про эту историю узнает, посмеется – непременно посмеется, а не пожалеет, – а я все люблю, и все без радости, и все без счастья без всякого. Бог с ними, люди! не понять им, какая это беда, если прилучится такое над человеком не ко времени. Ходила я к сталове-ру, – говорит: «Это тебе аггел сатаны дан в плоть... Не возносись». Пошла к священнику, говорю: «Вот, батюшка, что со мною, так и так, говорю, – сил моих над собой нет»; ну, священник меня хорошо пощунял: читай, говорит, раба, канон[26] «Утоли моя печали». Я

теперь и канон это читаю и к месту такому нарочно определилась, чтоб никаких смущений мне не было; ну, только... Валерушка! цыпленок ты мой! сокровище благих! Что ты это над собою сделал?..

Домна Платоновна припала головой к окну и заколотила лбом о подоконник.

Так я и оставил мою воительницу в этом убитом положении. Через месяц дали мне знать из больницы, что Домна Платоновна вдруг окончила свою прекратительную жизнь. Умерла она от быстрого истощения сил. Лежала она в гробике черном такая маленькая, сухенькая, точно в самом деле все хрящики ее изныли и косточки прилегли к суставам. Смерть ее была совершенно безболезненна, тиха и спокойна. Домна Платоновна соборовалась маслом и до последней минуты все молилась, а отпуская предсмертный вздох, велела отнести ко мне свой сундучок, подушки и подаренную ей кем-то банку варенья, с тем чтобы я нашел случай передать все это «тому человеку, про которого сам знаю», то есть Валерке.

Примечания

1

Эпиграф: слова Сенеки из I части драмы
А.Майкова «Люций».

[^^^]

2

Арид – библейский патриарх, проживший очень долгую жизнь (отсюда «аридовы веки»).

[^^^]

так в тексте книги

[^^^]

4

Фактотум (от лат. *fac totum* – делай все) – лицо, беспрекословно выполняющее чьи-либо поручения.

[^^^]

5

Серизовая (от *франц.*) – вишневого цвета. Гроденаплевая – шелковая ткань, которую впервые стали вырабатывать в г. Неаполе.

[^^^]

6

Марьяж - брак, свадьба (в карточном гадании).

[^^^]

7

*Потому что на этом свете
смерть все уничтожит,
И в пышном цветке гнездится
червяк (пер.авт.)*

[^^^]

Кортит – не терпится.

[^^^]

Спажинки (спожинки) – пост накануне успе-
нья (15 августа); праздник жатвы.

[^^^]

10

Карамболь – термин в бильярдной игре: удар шаром по двум другим шарам с рикошета.

[^^^]

Бурнус - в России в XIX веке так называли просторное женское пальто.

[^^^]

12

так в тексте книги, без дефиса

[^^^]

любовников (*франц.*)

[^^^]

отпора, оскорбления (*франц.*)

[^^^]

Мантилья - короткая женская накидка без рукавов.

[^^^]

Блондовый - сшитый из блонд (шелковых кружев золотистого, белого или черного цвета).

[^^^]

Бзырит (диалект.) – рыскает, бегаёт.

[^^^]

Слова Гамлета в одноименной трагедии Шекспира (II акт, 2-я сцена).

[^^^]

Живейный – извозчик, возивший пассажиров (в отличие от ломового, возившего грузы).

[^^^]

Вохлы (псковск.) – космы, патлы.

[^^^]

путешествующий, проезжий (*франц.*)

[^^^]

Ледунка (лядунка) – патронташ.

[^^^]

Тарбан (торбан) – струнный музыкальный инструмент типа украинской бандуры.

[^^^]

Навья кость – мертвая кость, одна из мелких косточек ступни, выступающая под кожей; по поверью, является вестницей беды или смерти.

[^^^]

Осил - веревка с подвижной петлей на конце.
Пеньковый - из пеньки (волокно из стебля конопли).

[^^^]

Канон – церковная молитва, исполнявшаяся на заутренях и вечернях.

[^^^]